

18+

FEMINA SAPIENS



Данияр Касымов

Данияр Касымов

Femina sapiens

«Издательские решения»

Касымов Д.

Femina sapiens / Д. Касымов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-671509-7

Что, если бы в мире царил матриархат? Айгуль Турсынай, чиновнице казахского министерства, поручено решить государственную задачу — вовлечь-таки мужское население в политическую жизнь страны. Предрассудки в обществе сильны: политика, наука и искусство — епархия женщин. Ее знакомство с лауреатом Анабельской премии — фрагмент в целой цепочке событий, в которой переплелись судьбы других героинь, несведущих, однако, что все они — песчинки в буре, порожденной отнюдь не силами природы.

ISBN 978-5-00-671509-7

© Касымов Д.
© Издательские решения

Содержание

Гатэя	6
Анабельский лауреат	15
Родимое пятно	19
Синяя куртка	24
«Библ»	28
Остров	35
Не мать, не дочь	38
Сны из пластилина	42
Оливковая ветвь	51
Дела альковные	65
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Femina sapiens

Данияр Касымов

© Данияр Касымов, 2025

ISBN 978-5-0067-1509-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

#

#

#Богине Земли

Гатэя

Едва заметно остывала земля в преддверии сумерек угасающего летнего дня, дневной зной спадал. Змеей по задышавшей полной грудью земле полз крошечный караван всевозможных листьев, ягод, семян, личинок и останков павших в борьбе насекомых, уносимых непоколебимой волей существ, способных поспорить за звание сразу в двух, казалось бы, взаимоисключающих номинациях: «самые могучие» и «самые крохотные» создания на планете. Они спешили в свои муравейники; впрочем, как всегда. Редко кто наблюдал бесцельно слонявшегося муравья, да и тот едва ли слонялся бесцельно. Гонимая бесподобным коллективным разумом прорва душ объединена одной лишь мыслью – служить королеве, родительнице своей. Миллионы лет их существования, а лучше сказать, процветания, доказали состоятельность избранного ими пути. На службе у ее величества их вид повидал на своем пути множество лап, конечностей, копыт и ног существ, как давным-давно канувших в Лету, так и видоизмененных в процессе эволюции. А они всё спешили.

Кроме земли, муравьев объединяло немного с ногами, давившими их и босыми, и в обернутой шкуре животных, и в плетеных сандалиях, и еще черт знает в чем, а в последнее время и вовсе не всегда ступавшими на грешную землю. Но то немного, что объединяло, сближало их необычайно. И те и другие были представителями социального вида с целой системой коммуникаций и высокоразвитой организацией взаимоотношений. И те и другие, пусть каждый по-своему, служили королеве – родительнице своей.

Мир всегда принадлежал женщинам.

Во всяком случае, с тех времен, когда можно отследить существование *femina sapiens*. Современные археологические находки уже не будоражат научные круги новизной в этом вопросе, лишь подтверждая в той или иной мере выводы, сделанные еще столетия назад учеными разных стран. И если в этом светлые умы и сходились, то причины, приведшие к доминированию женщины еще в первобытном обществе, часто их разъединяли. Вместе с тем абсолютное большинство сходилось во мнении, что именно репродуктивная роль женщины привела ее на гендерный пьедестал.

Природный инстинкт уберечь свое дитя толкнул первобытную женщину сделать все для его выживания, подчиняя все и вся вокруг себя служению этой цели, и начала она... с мужчины. На заре человеческого существования, в те далекие и темные времена не знанием она пришла к этому, но инстинктом, а то и слепой интуицией, подсказавшей, что первоочередная задача и главная война, которую нужно выиграть во имя рода человеческого, не за горами и лесами, а совсем рядом – на расстоянии вытянутой руки. И она ее выиграла. Не было, однако, ни крови, ни криков, ни грызни, но безмолвная победа. Поглаживанием головы чада своего, убаюкиванием и нашептыванием теплых материнских речей была достигнута она. Во взрослую жизнь мальчик вступал уже воспитанным матерью, отцом, да и всем окружением, – боготворить и служить женщине. Вся его физическая сила и неумная энергия были направлены вовне: покорять внешний мир было его призванием, занятием и утехой, в этом находил он свое удовлетворение.

Таково было матриархальное начало, по мнению многих.

Эволюция терпеливо делала свое доброе дело, доведя человечество до нынешнего состояния. Течение истории сопровождалось стремительным по историческим меркам развитием сознания и мировоззрения, научными и географическими открытиями, техническим прогрессом и такими неотъемлемыми спутниками жизни человеческой, как эпидемии, природные и общественные катаклизмы, в том числе, разумеется, и войны. Войны были самые разные: за территорию, за власть, из гордости или мести, во имя любви и, наконец, войны ради самой войны.

Жизнь на планете Земля текла своим чередом.

Иной раз живой ум, не лишенный воображения, навещает шальная мысль: а если бы на земле царил патриархат, что было бы тогда? При одном слове «патриархат», столь непривычном слуху, девушку внутренне передергивает, невольная снисходительная улыбка прилипает к ее лицу, голова начинает вертеться, а воображение – рисовать мрачные сцены апокалипсиса. И со словами «Слава Матери, что все так, как есть!» она оставляет эту «поистине безрассудную фантазию», попутно оглядываясь на пекущее солнце и притрагиваясь к своей макушке, проверяя, не перегрелась ли она, что всякая несусазица лезет на ум...

Едва заметно остывала земля в преддверии сумерек угасающего летнего дня. Муравьи спешили, и, как нередко случается, цепочка их дружной колонны с отрегулированным двусторонним движением была вероломно прервана, но не поступью млекопитающего, а налетевшим мячом, покалечившим с дюжину муравьев. Следом послышался топот бегущей за мячом ребятни. Вдруг вся ватага резко свернула, удаляясь от траектории полета мяча, и гурьбой понеслась в другом направлении, стараясь при этом опередить друг друга.

– Я первый! – победоносно крикнул один, припав к земле, готовый уж было утолить жажду из маленького родника, как вдруг налетевший сзади второй, не справившись с инерцией, задел того так, что мальчик плюхнулся в этот самый родник, инстинктивно уперев в него руки и замутив кристально чистый источник поднявшимся со дна илом.

– Сакен! – взревел первый и, вытащив илистые руки из воды, пихнул в грудь незадачливого увальня, оставив на взмокшей от пота футболке грязные пятна. Негодование было столь велико, а жажда так мучительна, что юный Батыр, имя которого было прямо противоположно его телосложению, вечно получавший тумаки от крупного Сакена, не ожидал от себя такой реакции и даже не сразу понял, что он сделал. Да и изнывающий от жажды и сухости в горле Сакен, чувствуя себя виноватым и проклиная свою неуклюжесть, пропустил мимо эту дерзость, прикидывая, сколько же времени им придется ждать.

Подросшие ребята с разочарованием уставились в мутный родник, не спешивший вернуть свою хрустальную чистоту. Один из них, припав к земле, попробовал было испить со струйки, впадавшей в источник, но поток был столь мелок, что он тут же оставил эту идею, выплевывая попавшую в рот грязь.

Разумеется, никто не был в состоянии ждать, когда вода вновь станет кристально чистой, и по очереди, согласно негласной иерархии, стали пить чуть просветлевшую, но все еще мутную воду.

– Дамир, а ты что не пьешь, а? – спросил Сакен, причмокивая, пытаясь определить, насколько грязная была выпитая вода.

– Она еще грязная...

– Он у нас городской, неженка! – съязвил Батыр.

– Ну, никто тебя ждать не собирается, пей давай или пошли, – почти хором рявкнули другие.

– Вода как вода, она еще почище будет, чем из крана у вас в городе, – наставнически заметил Адиль. – Мама говорит, что в крановую воду добавляют всяких химикатов, чтобы очистить, а она от этого еще вреднее становится.

Но и это не убедило Дамира, нерешительно уставившегося в родник.

– Ладно, жди сам, а мы по домам! – сказал Асет, вечно торопивший всех вернуться в аул, так как жил на самой окраине и добирался до дома последним. – А вратарь ты что надо! Приехал бы пораньше, сыграл бы за нас против сауранских, мы бы тогда точно уделали их!

Все закивали в знак согласия, немного с досадой, так как сауранские теперь ходили и в округе всем хвастались, что обыграли местных второй раз кряду.

И вся гурьба поплелась в сторону аула.

– А где мяч? – вдруг вспомнил Дамир.

– В те кусты улетел, – вполборота ответил Адиль.

Сакен, вспомнив о дерзости Батыра, на ходу отвесил тому сильного пинка под аккомпанемент смачной нецензурной брани.

Дамир же уныло поплелся в кусты, негодуя на то, что как поиграть в футбол, так те и припрутся домой, и позовут, и любезно попросят, а как поиграют – иди ищи свой мяч сам. Пусть подобное случалось часто, он каждый раз негодовал. Отыскав мяч, вернулся к роднику, взглянул на воду и, не став пить, бросился догонять ребят.

По пути мимоходом бросал взгляды на свои кроссовки, купленные накануне приезда сюда, теперь совсем чумазные, да и швы кое-где уже расходились. Вспомнилось, что поначалу старался ухаживать за ними, но после первой же игры в футбол на аульском поле, что и вообще не поле, оставил это дело, поняв тщетность такого занятия и смирившись, что как прежде они уже не станут.

Придя домой, залпом опорожнил чайник воды, стоявший у водяной колонки, после чего совершил свой вечерний ритуал: окунулся в бочку с водой, набираемую для полива огорода, намылился абы как, опрокинул на себя пару ковшиков уже чистой, почти горячей воды из рядом стоявшего бидона, изрядно нагревавшегося от солнца, и, обтираясь огромным махровым полотенцем, забежал домой, где застал своих за ужином. Точнее, за чаем после ужина.

Так было на протяжении последних двух недель. Домашние уже не ждали его, усаживаясь вечером за стол, ибо знали, что убегал он играть с местными ребятами, и кто знает, в футбол ли пошли играть, на реку ли купаться или еще где-то носятся. Главное, с соседским Адилем шатался, а значит, не пропадет, вернется. Да и в ауле знали, чей он сын.

Не было только Айки за столом. Видимо, уже поела и ушла к себе, мелькнуло в голове Дамира. Потрогал казан.

– Еще горячий, – прошептала бабушка, погладив внука по спине.

Поковыряв стальной шумовкой по дну казана в поисках излюбленных пригоревших частей, он наложил себе плова, уселся за стол и принялся жадно есть, вполуха слушая беседу взрослых, обсуждавших разрушительное землетрясение, случившееся еще в конце прошлого года в Армении, сравнившее с землей армянский город Спитак. Усердная работа челюстей мальчика привлекла всеобщее внимание, и на него посыпались вопросы, где он был и что делал. Особенно доставал расспросами дед, вечно подтрунивавший над внуком, что он-де городской, а здесь ребята аульские, спуску не дадут.

– Ну-у, крепыш, сколько голов забил?

– Три, – соврал Дамир, чтобы избежать ухмылок деда.

Тот как услышал, что первые дни внучок вратарем был, так все уши ему прожужжал, мол, дашь слабинку, так все лето во вратарях и прстоишь. Так, собственно, и было. Как бы он ни договаривался вначале, когда те приходили просить мяч, что вратарем он не будет, по ходу игры и сам не замечал, как оказывался в воротах. И даже щупленького Батыра не мог заставить сменить себя.

– О-о, молодец!

– А Айка уже поела?

– Она вообще не кушала, – ответила мать, – ей немного нездоровится... Может, потом поест.

– Съела что-то немытое, наверное, вот живот и заболел, – подхватил дед.

– Она немытое не ест, ата¹. Все моет и меня заставляет, – возразил внук. – Хотя волосатые персики я люблю немытые. Мне нравится их кушать с ворсинками, так вкуснее и пахучее, а помоешь их – совсем другой фрукт получается.

¹ Дедушка (каз.)

Быстро поев и положив посуду в раковину, он направился было в сторону комнаты сестры, но мать его остановила.

– Может, ей что-нибудь нужно, – молвил Дамир.

– Нет, оставь ее. Я уже спрашивала, она просто хочет отлежаться. Садись пить чай.

По категоричной интонации мальчик понял, что вопрос не обсуждается. Слегка озадачился: даже если Айке сильно нездоровилось, обычно ему позволяли заходить и справляться о ней, даже поощряли, а сейчас – нельзя. Должно быть, совсем худо ей, решил он, протягивая руку за пиалой налитого чая.

Традиционно долгое вечернее чаепитие проходило в разговорах о том о сем, старшие щедро делились своими историями из далекого прошлого, когда они были молодыми, изо дня в день повторяя те или иные эпизоды по несколько раз. Дамир столько раз их уже слышал, что мог не только пересказать, но и предугадать целые предложения, которые будут ими сказаны, порой дословно. И если поначалу внучок недовольно бурчал по поводу бесконечных повторов, то теперь не утруждал себя этим, понимая, что это ничего не изменит и слушать все равно придется; а в последнее время и вовсе находил в этом некое развлечение, стараясь угадать, какую же историю им суждено переслушать в этот раз.

Так заканчивался этот день – день за неделю до возвращения домой в преддверии начала нового школьного года.

Войдя в спальню, где Айгуль, сидя на кровати, готовилась ко сну, Икрам, присев рядом, молвил:

– Ну, выкладывай, что там, – тоном голоса давая понять, что он-де догадывается, что дочери не просто нездоровится.

Он заметил, что со вчерашнего дня та чаще закрывается у себя в комнате, ест меньше, да и в целом ведет себя необычно. Не ускользнуло от него и вдумчивое настроение жены.

Полдня у них не ладилось из-за мелкой ссоры, но чуткость мужа, проявлявшаяся в нужные моменты, обезоруживала ее. Не всегда расшифровывая настроение любимой, он тем не менее умудрялся безошибочно отличать ее простое, ничего не значащее молчание от иного – оглушительного молчания. Она притянула чуткого к себе и впилась в него поцелуем.

– У нее начались месячные, – прошептала она, просияв, – вч...

– Ух ты!

– Вчера. В не самое подходящее время, точнее, в не самом подходящем месте: дома ей было бы куда комфортнее эмоционально. Ну да ладно, все хорошо.

– Так рано, – выдохнул Икрам, поймав себя на мысли, что так отреагировал бы, пожалуй, и через год, и через два, и даже через три. По снисходительной улыбке жены понял, что и ее посетила та же мысль. – Но ты ведь ее... подготовила?

– Разумеется, давно... Но к этому невозможно быть вполне готовой: как ни объясняй заранее и ни успокаивай, в первый раз это застает тебя врасплох – как эмоционально, так и физически... Точно твое тело тебе больше не принадлежит, будто оно само по себе, а ты только наблюдаешь за ним со стороны; во всяком случае, у меня такие воспоминания остались.

Молчание прогулялось по комнате.

– Так что уже большая девочка наша, – бойко заключила она, похлопав мужа по ноге.

В этой фразе, в интонации и в этом легком, но многозначительном похлопывании Икрам уловил эдакую торжественность момента, словно невидимая черта разделяла его дочь надвое: ту, что он хорошо знал, и ту, что предстояло узнать. Так ему думалось.

Он вышел во двор, охваченный диким желанием закурить, хотя свою «одну сигарету в день» он сегодня уже выкурил (он бросал курить). Все это время в ауле он держался стойко, тогда как в городе в этом плане дисциплина хромала. Пару раз глубоко вдохнув вечернюю прохладу, сдержался-таки, забросив в рот жвачку, потом еще одну, и уселся на скамейку подышать, подумать.

Активно работая челюстями, дивился тому, насколько эта, по сути, житейская новость невольно меняет его отношение и восприятие своей дочери. Выскочи та сейчас во двор, он бы, наверное, растерялся, не зная, что сказать. Просидев чуть меньше часа, вернулся в спальню, не решившись по пути зайти в комнату Айки, чтобы пожелать спокойной ночи, как обычно это делал. Застал Айгуль спящей. Спать ему особо не хотелось, но, улегшись в постель, заснул скоро.

Неделя прошла быстро.

Все были рады вернуться домой, каждый к своей рутине, к своим делам и друзьям, особенно дети, истосковавшиеся по динамичной городской жизни; и все же проведенный месяц в ауле, вдали от городской суеты, пришелся всем по душе. И если поначалу Дамиру было нелегко без своих друзей, игровых приставок и компьютерных игр, которые родители запрещали брать в аул, то, втянувшись в аульскую рутину и большую часть времени пропадая на улице с аульской ребятней, тосковал по друзьям и благам цивилизации редко. Что до Айгерим (она же Айка), то этой юной особе выгодно всюду, где есть книги, а бабушкин дом в этом плане суший рай, книги везде: на полках, в шкафах, на подоконниках и даже в подвале, – поэтому месяц для нее пролетел так же стремительно, как она перелистывала страницы проглоченных ею романов.

Немного лишь расстроил всех инцидент, имевший место за пару дней до их отъезда из аула, когда Дамир вернулся с улицы подравшимся. Это не сразу обнаружилось и, возможно, так и прошло бы незамеченным, если бы не словоохотливые соседи. Дамир держал рот на замке, но соседский Адиль так оживленно рассказывал своему брату про драку против сауранских, с которыми местные тягались во всем, что возившаяся в саду Айка не могла не услышать столь увлеченное повествование. Отыскав братика возле курятника, склонившегося над тазиком с водой, она, присев и развернув того к себе, стала внимательно разглядывать его лицо, шею и руки, не произнеся при этом ни слова. Дамир не сопротивлялся, пробубнив лишь, что он-де в порядке, но вид имел явно подавленный. Сестра обнаружила остатки запекшейся крови в носу и, наказав ему оставаться на месте, поспешила домой и вернулась уже с ватой; помогла почистить нос и умыться, чтобы не было следов. По завершении конспиративной процедуры она звонко чмокнула братика в щеку, поощрительно потрепав по голове.

Ей было понятно без слов, что он не хотел, чтобы взрослые узнали; без слов понял и он, что сестра не выдаст. Несмотря на разницу в возрасте, они были по-своему близки.

Но скрыть не удалось.

На подходе к дому слышались встревоженные голоса родных, что-то бурно обсуждавших в прихожей: бабушка занесла новость в дом, прознав о драке от соседки. Все дернулись было выйти во двор, глянуть, в порядке ли их мальчик, но вошедшая дочь-внучка остановила их, объявив, что Дамир в полном порядке, и попросив не устраивать шумиху. Взрослые подчинились. Несмотря на юный возраст, Айгерим с легкостью удавалось влиять на домашних, особенно на прародителей, при этом ей не нужно было ухищряться, довольно было простых слов, сказанных своим размеренным, полудирективным тоном. Бабушка с дедом не уставали повторять, что этим внучка вся в свою мать.

Как оказалось, драка завязалась из-за Дамира, которого сауранские видели впервые. Новое лицо, к тому же городской, для аульских все равно что красная тряпка для быка. Новичка обычно стравливали с кем-нибудь, либо провоцируя конфликт, приводивший к драке один на один, либо испрашивая в лоб, готов ли тот драться с тем-то. С Дамиром использовали второй вариант. По подавленному состоянию мальчика можно было понять, что хвастаться ему нечем. Драки не получилось: она закончилась, едва начавшись. Сразу отхватив от сауранского мальчугана, что был и младше возрастом, и меньше ростом, но, как и все аульские, прочен и хлесток, как камча, Дамир тут же сник, схватившись за звенящий нос. Местные, не выдержав после очередного поражения в футбол еще и этого унижения, ведомые Сакеном, толпой набро-

сились на сауранских, которые в обиду себя не давали. Проходившие мимо чабаны не особо спешили разнимать детвору.

После этого происшествия Дамир вообще не выходил на улицу, стыдясь показываться товарищам на глаза, ему не терпелось уехать.

Однако омрачило вовсе не то, что он подрался, а разговоры в доме после. Ссора произошла между взрослыми.

Мать мальчика бесилась и ругалась со своими родителями, имевшими неосторожность если и не прямо похвалить внука за инцидент, то недвусмысленно одобрить «мужской поступок», что в корне разнилось с позицией Айгуль, крайне негативно относившейся к мордобойной дрессировке мальчишек. До Дамира доносились пожилые голоса, что негоже мальчику расти нежным ребенком и что такие эпизоды воспитывают характер и стойкость духа, необходимые мужчине, апеллируя при этом к давним казахским обычаям, когда ребят воспитывали куда похлеще. Слышал слова бабушки: «...Хилым вырастет, кому он такой нужен будет, какая нормальная девушка его возьмет! Будет еще, не дай Мать родная, как Ертай: всю жизнь один, никому не нужный!» Дед поддакивал. Айгуль же, засучив рукава, решительно осадил обоих, не щадя метких, тяжелых слов.

Хорошенько досталось от нее и этим самым обычаям: «Традиции, обычаи! Что вы заладили про них, вы в каком веке живете?! Куда вы тащите свои средневековые обычаи?! Как будто в них заключена какая-то вселенская мудрость! Это ведь просто обычаи и ритуалы, имевшие практический характер в то или иное время, отражавшие сознание и нелегкий быт народа в конкретную эпоху его развития. Да, они важны, кто ж с этим спорит, но только как история, как нить, связывающая нас с нашим прошлым, чтобы мы помнили наши истоки, кто мы и откуда, но не как прикладные знания. В нашем-то веке!.. Вечно, чуть что, сразу возгласы: „Традиции! обычаи!..“ И вот все так: нечем бить или нечего возразить – тут же апеллируют к традициям, как козырной картой махают туда-сюда!..» В конце этого пылкого монолога вдруг обронила: «Мам, кстати, у Айки вот начались... так давайте окропим землю священной фертильной кровью, как делали наши предки!»

Эмоциональную тираду Айгуль венчал строгий наказ родителям воздерживаться от воспитания не своих детей, на что бабушка хотела было что-то пробурчать, но огнедышащий взор дочери заставил передумать. На этом все закончилось. Никто не любил связываться с Айгуль в гнев.

Икрам не вступал в словесную потасовку, предпочитая, чтобы жена сама разбиралась со своими родителями, тем более что она это умеет.

Дамир смутно помнил дядю Ертая, двоюродного брата мамы, упомянутого бабушкой, которого Айка называла «тихоней». Он видел-то того пару раз в жизни, последний раз на чьей-то свадьбе, где дядя Ертай одиноко сидел за столом и ни с кем не разговаривал, а может, с ним никто не разговаривал. Часто родственники вспоминали его в воспитании детей, не вдаваясь, однако, в пояснения, а попросту грозя: «Не будешь слушать родителей, станешь таким, как дядя Ертай!» По интонации и контексту дети, даже самые маленькие, смекали, что быть таким, как дядя Ертай, – это очень, очень плохо. Так делали многие, но только не мама Дамира. Мальчик видел, что мама была одной из немногих, что в тот день подсели к нему и перекинулись парой слов. Поговаривали, что у дяди не все дома: мол, странноватым стал после того, как в молодости девушка оставила его.

Услышанное Дамиром из той ссоры не прошло бесследно. На следующий же день он шепотом поинтересовался у отца: что это за священная плодотворная кровь, о которой говорила мама, и при чем тут Айка? Растерянный вид ребенка выдавал волнение – видимо, порядком переживал за сестру. Он ни слова не сказал Айке об услышанном, дабы не пугать, радуясь, что той не было дома, когда взрослые ругались. Икрам успокоил сына, заверив, что повода для

беспокойства нет и что сестре ничто не угрожает, отправив, однако, за ответом к матери: «Она сможет лучше объяснить».

Выждав, пока Айка выйдет во двор, он начал описывать круги вокруг погруженной в чтение матери.

– Мам, хочу кое-что спросить у тебя, – начал он, наблюдая в окно за передвижениями сестры в саду.

– Что такое? – не отрываясь от книги, откликнулась мать.

– Мм, хочу кое-что спросить... – замялся.

Айгуль оторвалась от чтения и, бросив на сына пыливый взгляд, развернулась к нему, закрыв книгу. По блуждающе-растерянному виду поняла, что сына интересует нечто нетривиальное, ну или как минимум то, что потребует вдумчивых пояснений, а не простого ответа «да» или «нет».

– Да, солнце, спрашивай.

Тут он приблизился к ней вплотную и прошептал:

– А что это за священная кровь, которой нужно полить землю? И зачем?.. Ну, то, что ты апашке² говорила вчера. Папа сказал у тебя спросить.

– А папа что уже тебе рассказал? – Устроилась поудобнее, сохраняя невозмутимость, чтобы мальчик не подумал, что затронул какую-то щекотливую тему.

Она была яркой сторонницей идеи, что для детей не должно быть вопросов-табу или запретных тем для разговора, поэтому старалась всегда и в полной мере удовлетворить любопытство своих детей вне зависимости от вопроса. «Пусть за ответами приходят к нам, а не ищут их на стороне», – повторяла она, призывая Икрама отвечать на любые вопросы их чад, не увиливая и не откладывая на потом.

– Ничего. Сказал, что ты лучше объяснишь. Это опять баранов резать, да? Но ты еще про Айку что-то говорила.

– Иди ко мне, садись, я тебе все объясню. – Усадила сына рядом и, немного помедлив, прикидывая, с чего же лучше начать, продолжила: – Раньше, много-много лет назад, когда люди многого еще не знали, они верили в самые разные вещи. Помнишь ведь истории из мифологии, которые мы с папой тебе рассказывали? – Мальчик кивнул. – Они, к примеру, верили, что восход солнца – это взмах руки Гатэи...

– Знаю! Это богиня, у которой руки всегда за спиной, и в левой руке у нее вместо ладони солнце, а в правой – луна. Захочет – вытащит солнце, а захочет – луну!

Гатэя особенно запомнилась Дамиру из-за отрывка стихотворения, выученного им в школе:

*Ее улыбка выюгу гонит,
Ее ухмылка в ступор вводит,
Капризен нрав ее, увы.
От всех нарочно руки скроет:
Взмах левой – души все порхают,
Взмах правой – те бегут во тьме,
И челядь, глаз поднять не смея,
В молитвах головы склонив,
Трепещут: вот она – Гатэя!*

– Все верно, – ласково потрепала сына по голове, – они верили, что восход солнца и луны – это ее каприз. И даже когда были обычные тучи, скрывавшие солнце, они думали,

² Бабушка (каз.)

что это она, гневаясь на людей, прячет левую руку за спиной. Поэтому все молились и делали подношения ей, ну, несли ей подарки, оставляя их на самой возвышенной точке округи, чтобы задобрить богиню. Они тогда не знали того, что знаем мы. Что солнце – это-о... – вопросительно протянула она.

– Большая звезда в небе!

– Верно. И что день и ночь всегда сменяют друг друга, потому что Земля постоянно вращается вокруг себя, и когда она поворачивается одной стороной к Солнцу, то на этой стороне планеты день, а на другой, соответственно, ночь; и Гатэя тут ни при чем.

– Но мне нравятся истории про всяких богинь.

– О-о, мне тоже. Так вот, точно так же люди думали в свое время, что земля – это мама, мать всего живого на земле; отсюда, кстати, и выражения «мать-земля», «земля-матушка». И люди верили, что урожай зависел исключительно от ее настроения. И в знак поклонения Матери и признания ее верховенства они подносили ей кровь будущей мамы – мамы человека, как бы прося, чтобы земля была плодородной, а урожай хорошим...

– Но Айка еще маленькая, чтобы быть мамой, – перебил Дамир, вмиг связав эти слова с услышанным днем ранее.

– Конечно, ей еще ой как далеко до этого, но у девочек есть определенный момент, когда тело подает знак, что оно начинает созревать и в скором времени готово будет физически создать и носить ребенка в животе. И вот таким знаком служит кровь, которая начинает немного течь из влагалища девочки, когда она достигает определенного возраста.

– Кровь??? Из влагалища... откуда дети рождаются? – сконфуженно выдохнул пораженный Дамир, указывая на гениталии матери. – Как из раны?

– Да, отсюда. Но это не рана, это совершенно нормальная вещь у девочек и женщин. Это примерно так же, как... как когда ты простудишься и у тебя из носа течет и течет. Так же и у девочек, но это вовсе не болезнь, а особенность женского организма. И не всегда, а иногда, примерно раз в месяц.

– А это больно?

– Нет, не больно, скорее неудобно. Так вот, такую кровь раньше считали священной, потому что она была знаком того, что девочка становилась способной стать матерью. Но только та кровь, которая появлялась у девочки в самый-самый первый раз. Поэтому у некоторых народов, если весной у девочки появлялась такая первая кровь, это считалось очень хорошей приметой, и люди верили, что таким образом земля посылала знак, что она добра к людям и что урожай будет хорошим. В ответ они брали такую кровь и обрызгивали ею землю в благодарность за ее доброту и в знак поклонения. Другие народы верили, что такая кровь, именно первая, обладает волшебной силой: если побрызгать ею землю, та станет плодородной и даст хороший урожай. Были и такие, что считали, что такая кровь обладает целительными свойствами, и ею лечили больных, ну, лечили их. А к таким девочкам все народы относились почти по-королевски в такой момент, чуть ли не на руках носили. Так они думали в те далекие времена, потому что многого не знали. Не знали, что урожай зависит от многих вещей: от почвы, от погоды, от обилия дождей и снега, и что кровь на деле ничего не решает.

– У Айки сейчас течет кровь в первый раз?

– Да, у нее менархе было на прошлой неделе. Менархе – это первая менструация, а менструация – это ежемесячное кровотечение у девушек и женщин. Скоро в школе вы будете подробно изучать все эти особенности и отличия организмов девочек и мальчиков.

– Тогда я должен носить Айку на руках! – выпалил Дамир, вызвав сияющую улыбку матери. – Я сильный, я могу! – почти гаркнул он, приняв типичную позу культуриста, но, вспомнив вчерашнюю драку, сник и, пристыженный, выбежал из дома.

Айгуль выглянула в окно и позвала дочь, чтобы поведать об этом разговоре, дабы брат не застал сестру врасплох.

Анабельский лауреат

Темная-темная вода, глубокая. Шум воды и чей-то крик. Тускло, туманно и нестерпимо влажно, аж трудно дышать. Что-то сковало грудь, слова застряли в горле... Ноги вдруг почувствовали песчаное дно берега, но оцепенели, и все усилия сдвинуть их с места напрасны, а двигаться-то нужно, ой как нужно... Женский пронзительный крик в ушах: «Вижу! Вижу!» Руки неподъемны, скованы чем-то. Но чем? Взор медленно опускается и видит липкую, густую тину на руках, она-то и тянет их вниз и не дает идти, а идти-то ой как нужно... Голову пронзает мысль: «Не может этого быть!»

Слегка дернулась нога, он проснулся. Стояла глубокая ночь.

Он продолжал лежать с открытыми глазами, не двигаясь. Хотел окончательно проснуться, прежде чем заснуть снова: еще в далекой-далекой юности подметил, что, если ночью проснуться и в полудреме тут же заснуть, можно увидеть продолжение прерванного сна. А этот сон он видеть не хотел, хотя снился он ему часто. Его не покидало ощущение, граничащее с твердой уверенностью, что, когда он будет отходить в мир иной, именно этот сон или его подобие будет последним фрагментом в его сознании. В последнее время мысли о смерти посещали его часто, вернее, покидали редко. Должно быть, потому, что подходил к концу восьмой десяток жизни. Восьмой десяток, из которых последние сорок были бурными на труды годами, бурными, но... одинокими. Видимо, то была цена за такую жизнь. Он почти ни о чем не жалел. Вот только этот сон...

Проснувшись рано утром, за завтраком принял фундаментальное решение, что ездить теперь никуда не будет. Все, хватит! Все эти поездки, перелеты его сильно изматывают. Сесиль права: в таком возрасте не пристало так часто колесить по свету, особенно в дальние и длительные командировки. Хотя он был убежден, что именно активная трудовая деятельность и путешествия продлевают жизнь и держат его тело и разум в тонусе (в основном разум). Ясности его ума действительно завидовали многие. «Да и количество лекций в университете пора бы сократить, старый уже, – продолжал размышлять он, окуная овсяное печенье в чашку подогретого молока, – не пожилой, не в преклонном возрасте, а именно ста-а-арый». Как назло, с улицы донесся устрашающий вой сирены машины скорой помощи, будто бы намекая на верность хода его мыслей, он аж замер, задумавшись (застывшее на полпути печенье капнуло молоком).

Утро было его любимым временем суток. Звуки просыпающегося города бодрили его, обещая продолжение дня, суля бессмертие. Утро дарит надежду. Видимо, поэтому все люди в преклонном возрасте встают спозаранку.

Закат его жизни наступал стремительно, он это чувствовал. Ощущал сие не пресловутым шестым чувством, а всеми фибрами тела, души и разума, видел это в зеркале, в общении с людьми, в их участившихся снисходительных взглядах.

Будучи весьма наблюдательным человеком, к тому же склонным к самоанализу, он стал замечать, что если раньше во время обязательных утренних прогулок планировал свои дела, как личные, так и рабочие, то в последнее время больше предавался воспоминаниям и размышлениям: о том, что было, чего не было и что могло быть, если бы однажды жизнь не привела его туда, куда *причала* около сорока лет назад. Вся его жизнь была отчетливо поделена на до и после того события, будто в течение одной жизни две разные судьбы пробыл, двумя разными людьми побыл; и даже сейчас, оглядываясь назад, не мог с уверенностью сказать, какую бы в итоге выбрал.

Было время, было человеческое счастье, простое, как у всех. Был рядом любимый человек, близкий и душой и телом, которому ты был нужен и с кем делил все радости, заботы и грандиозные планы на жизнь, на всю жизнь. Было умиротворяющее чувство быть нужным кому-то, быть свидетелем чьей-то жизни и знать, что и твоя крохотная жизнь в этой огромной все-

ленной не проходит незаметно, по крайней мере еще для одного человека. Было время, когда смотрел на мир двумя парами глаз, когда ловил на себе по-хорошему завистливые взгляды окружающих, знакомых и незнакомых, наконец, время, когда стремление к личному счастью, столь естественное по природе, определяло все в жизни: мысли, мечты и поступки. И казалось, оно будет длиться вечно. Все это было.

Было и другое время, тянувшееся по сей день: когда свидетелями твоей жизни являются очень многие, а значит, никто по-настоящему, когда личное счастье безвозвратно забыто, и теперь оно лишь определение в словаре прошлого. И забыто не по своей воле, а просто стало невозможным; много лет назад он понял это и, крепко смежив веки, проглотил от безысходности, проглотил как пищу, что противна на вкус. Эта глава его жизни была посвящена не ему, но другим, в ней он был забыт, в ней его попросту не было.

Нынче и вспомнить не мог, что именно толкнуло его в тот переломный момент встать на этот тернистый путь: тщеславие ли, профессиональный эгоизм или стремление к всеобщей справедливости, а может, и безрассудство. Пожалуй, все вместе. И действительно, оглядываясь назад, он находил на тропе «второй» жизни следы и тщеславия, и эгоизма, и безрассудства, и жгучего желания изменить мир к лучшему; на том или ином этапе то одно чувство преобладало, то другое, неуклонно толкая и толкая на продолжение нелегкого пути, пока он не добрался до точки невозврата, когда свернуть уж поздно. Местами топал по инерции, и такое было. В последние же годы топливом для двигателя все больше служил банальный страх смерти, страх забвения. Немудрено, в его-то годы. Как люди, что на закате лет с головой погружаются в религию в поисках иллюзии продолжения бытия, он погрузился остатками сил в единственное, что у него было, – труд, чтобы им ухватиться за все удаляющийся поезд жизни. Оставить что-то после себя, остаться в памяти других – не это ли бессмертие?

Пора сбавлять обороты, твердо решил он, собираясь на работу, пора и о себе подумать, хотя от себя уже ничего не осталось. Да и что он будет делать, чем займется? Ничем? «Ничем» пугало его. Безделье и свободное время в первый же день обнажат пустоту его личной жизни, точнее, ее полное отсутствие. Без своей работы он – заброшенный вокзал на отшибе цивилизации, куда не ходят ни поезда, ни автобусы, не летают самолеты, куда дорогу безнадежно замело временем и которого уже нет на новых картах жизни; заплутавшие путники и те туда не забредают, разве что Сесиль, его младшая сестра, навещает иногда, и то из чувства долга.

Такие мысли все чаще и чаще посещали по утрам Магнуса Кельда – известного историка, ученого, почетного профессора двух престижнейших университетов мира, писателя, автора многочисленных научных трудов, общественного деятеля и, наконец, лауреата Анабельской премии.

В то утро, войдя – нет, ворвавшись – в свой кабинет, профессор Кельда излучал решимость, несвойственную почтенным годам. Впервые не притронувшись к свежим газетам и не испив кофе, с чего неизменно начиналось его рабочее утро в университете, он вызвал Яна Агния, своего ассистента, работавшего бок о бок с профессором почти десять лет.

Едва тот переступил порог кабинета, профессор энергично произнес:

– Ян, голубчик, будь добр, распечатай и принеси мое расписание. – Хлопок в ладоши. – Полное расписание: лекции, выступления, поездки, встречи, – в общем, всё!

– Только подтвержденные вами или предварительные тоже?

– Голубчик, всё!

Ян удалился, мигом уловив необычное настроение профессора и поняв, что грядут перемены. «Ой-ой-ой», – разволновался он, шагая по коридору. Последний раз похожий решительный настрой профессора закончился переездом в этот город, в этот университет, лет шесть назад. «Неужели что-то подобное?» – занервничал ассистент. Он прикипел и к городу, и к стенам университета, ему здесь определенно нравилось. К тому же здесь он встретил Клару.

Едва он добрался до своего места, зазвенел телефон.

– И вот еще что... – неуверенный голос профессора на том конце. – Хотя нет, ничего, ничего. – Гудки в трубке. Ян пожал плечами.

Больше часа ассистент с профессором провели над расписанием и планами, где первый наблюдал, как второй энергично что-то обводил, что-то подчеркивал, что-то зачеркивал, а где и вовсе ставил жирный-прежирный крест, по ходу комментируя и давая указания на будущее. Ян едва поспевал записывать, стараясь ничего не упустить и не переспрашивать. Упаси мать переспрашивать профессора в таком состоянии!

Когда с делом было покончено, профессор бросил помощнику вслед:

– Еще раз, милоч, на будущее: только важные дела, только важные! Прошу тебя. Остальное можешь смело отметить, решай сам по своему усмотрению, даю тебе в этом полный карт-бланш. Только отказывай почтительно, сошлись там на... плотный график, личные обстоятельства всякие, или... стой! Нет, лучше сошлись на здоровье, да, на здоровье. Так поверят, поймут. В общем, сам, голубчик, сам.

– Понял, профессор.

Для Яна последнее поручение не составляло особого труда, ибо он действительно понимал, что именно профессор вкладывает в понятие «важные дела».

День обещал быть тяжелым в плане внешних коммуникаций. Еще бы, ведь профессор отменил половину подтвержденных им ранее мероприятий, среди которых были и встречи с влиятельнейшими политическими особами, фамилии которых регулярно мелькают в средствах массовой информации. По пути в свой кабинет, пусть и соседствующий с кабинетом профессора, но до которого нужно было топать и топать ввиду замысловатого архитектурного решения сделать коридор длиннющей буквой «П», он обдумывал, с кого начать и как лучше провернуть все это дело с отменами без лишней нервозности. Отменить – лишь полдела, вторая половина – стойко выслушивать просьбы, жалобы, уговоры, а порой и угрозы на том конце провода и, главное, отбивать любой ценой попытки «поговорить с господином Кельда напрямую». Как верный сторожевой пес, Ян ревностно оберегал спокойствие своего руководителя, что, собственно, и было частью его работы, до профессора такие организационные передраги не должны были доходить. «Ничто не должно отвлекать Магнуса Кельда от поистине важных дел!» – таков был девиз Яна Агния. Впрочем, в последнее время отмены и отказы удавались легче, не без удовольствия отмечал он, и негодовали уже немногие: похоже, начали-таки принимать во внимание возраст человека.

Взор упал на жирно обведенное профессором мероприятие на донельзя исчерченном листе. Сегодня же нужно связаться с госпожой фон Армгард и передать пожелание профессора участвовать в конференции в ином формате, нежели было ею предложено. Собирался с духом. Он свяжется, разумеется, с Юсуфом – ее ассистентом, но бывало, что фон Армгард сама следом перезванивала за уточнениями или объяснениями, и тогда Ян безнадежно терялся, лихорадочно бормоча что-то в ответ. Женщина была крайне вежлива в общении, но спокойный и одновременно властный голос чиновницы попросту сковывал его. Бедняга пробовал даже заранее отрепетировать ответ на случай звонка – без толку: едва слышал ее голос, все забывал. А при личной встрече и того хуже. Дважды ему выпадало сопровождать профессора на мероприятия, где была фон Армгард, так он в ее присутствии, казалось, дышать забывал. В первый раз Магнус даже подумал, что тому откровенно нездоровится. К тому же Ян не особо жаловал эту особу, что добавляло порцию нервозности в его поведение; недолюбливал, однако, не по какой-то конкретной причине, а просто потому, что профессору та была не по душе. Он был настолько интегрирован в профессиональную жизнь своего руководителя, в том числе эмоционально, что любовь или нелюбовь профессора к тому или иному человеку невольно передавалась и ему. Да и фон Армгард не помогала делу: она, как казалось Яну, отвечала профессору «взаимностью», пусть и неизменно выказывала последнему должное почтение. Сам профессор иллюзий на этот счет не питал, обронив однажды Яну, что фон Армгард его на дух

не переносит, и сказал он это не без гордости. В разговорах с помощником Магнус нередко называл ее бестией, причем в устах профессора это могло быть и ругательством, и выражением подлинного восхищения, в зависимости от контекста. Пусть и недолюбливал профессор бестию, но уважал безмерно. Симону Китри фон Армгард невозможно было не уважать. Не-воз-мож-но.

В итоге решил не откладывать и начать именно с фон Армгард. «Нечего оттягивать или готовиться, – рассудил Ян, – все равно она уже балбесом меня считает, так что не страшно. К тому же этот вопрос в приоритете для профессора. Да, вот это – важное дело».

Родимое пятно

Вернувшись домой после отпуска, Айгуль чувствовала себя отдохнувшей и была полна сил. Они ей были нужны, так как ближайшие месяцы на работе обещали быть напряженными.

Она работала в департаменте социальной интеграции казахского министерства социального развития, в компетенцию которого, помимо прочего, входили вопросы национальных и сексуальных меньшинств, социально изолированных групп и гендерная тематика. Ей был вверен пилотный проект по так называемой активной гендерной корректировке, целью которой было массовое вовлечение представителей мужского пола в политическую жизнь страны, куда те не особо стремились. Предвззудки были сильны: власть и политика испокон веков считались епархией женщин. Пришедшее к власти либеральное правительство, пристыженное отсталостью страны в этом вопросе, барахтающейся в середине второй сотни стран по гендерному равноправию, было настроено весьма решительно в изменении ситуации.

Одной из главных инициатив, рассматриваемых рабочей группой, возглавляемой госпожой Турсынай, было внедрение гарантированной квоты мужчинам на занятие мест в законодательных органах, абсолютное большинство в которых исторически занимали женщины. Во многих странах данная мера была в той или иной форме использована и доказала свою состоятельность: пусть не сразу, но она побудила-таки мужчин со временем выдвигать свои кандидатуры и быть в целом более активными на политической арене. Банальная агитация и информационная работа по призыву мужчин, используемые на протяжении последних лет, не дали желаемых результатов. Мужское население по-прежнему сторонилось политики, как чего-то чуждого и недостижимого, обделяя вниманием и науку с искусством, по старинке повально подаваясь в более «приземленные» профессии. Так уж сложилось.

Айгуль не сразу оказалась здесь. Путь сюда был тернист, мечты были другие.

С юных лет обнаружив в себе склонность и интерес к гуманитарным наукам, после школы она пошла получать юридическое образование. В университете ее заинтересовала сфера защиты публичных интересов, а именно служба государственного обвинения, где она и отучилась. По получении диплома ей без труда удалось устроиться на работу по своей специальности, но проработала она там недолго. Все шло хорошо, карьера обещала быть и обещала не заставить себя долго ждать. Айгуль была уверена, что оказалась на своем месте, отчего трудовые будни, какими бы сложными они ни были, не были в тягость, наоборот, доставляли ей немалое удовлетворение. Однако профессиональной идиллии вскоре пришел конец. Скалой, о которую разбился шедший на всех парусах корабль «Айгуль – будущая прокурорша», стало одно уголовное дело, поставившее крест на прокурорской стезе.

Оглядываясь нынче назад, Айгуль рассудила, что именно то дело послужило своего рода отправной точкой – поворотом, приведшим ее туда, где она была сейчас. И по прошествии многих лет воспоминания о тех событиях угнетали ее.

С отличием окончив юридический факультет по специальности «правосудие», она успешно прошла конкурс в департамент защиты государственных интересов и публичного порядка. Будучи младшей сотрудницей, молодая Айгуль большую часть времени, как и подобает начинающим, работала с архивами в отделе кодификации. Далее последовал перевод в интересовавший ее отдел государственного обвинения на должность ассистентки. Однажды экстренно подменив приболевшую помощницу государственной обвинительницы Акмарал Гульден и проявив в том деле небывалое усердие и пытливость ума, она, по ходатайству самой госпожи Гульден, была принята на младшую должность государственного обвинения. Профессиональное рвение вкупе со здоровыми амбициями не осталось незамеченным, ей кулуарно пророчили быстрое продвижение по карьерной лестнице; впрочем, она и сама это чувствовала. Проработав чуть больше года на этой должности, она так набила руку, что уже самостоятельно

от а до я готовила дела государственного обвинения, причем столь скрупулезно, что порой прокуроршам попросту нечего было добавить в полученные от нее материалы. Дошло до того, что прокурорши охотились за Айгуль, желая заполучить «звездочку» в помощницы по своим делам, используя для этого все приемы бюрократической машины; но Айгуль об этом не знала. Лично ей было интересно работать у все той же госпожи Гульден, дела которой отличались эдакой «взрывоопасностью», так как маститой прокурорше неизменно поручали дела крайней сложности или скандальности, вызывавшие повышенный интерес общественности и, как следствие, средств массовой информации.

Одним из таких было дело об изнасиловании гражданки Анели Нагима. На скамье подсудимых был гражданин Серик Махаббат.

Данное дело, как и любое дело об изнасиловании, вызвало немалый резонанс в городе. Грабежи, кражи, разного рода мошенничества и прочие преступления, включая убийства, случались нередко, но не изнасилования. Это преступление считалось особенно омерзительным, и помимо общего негодования, порождаемого любым преступлением, вызывало еще и глубокое презрение к насильнику, осмелившемуся осквернить женщину. Причем для абсолютного большинства было совсем не важно, какой именно вид насилия имел место над женщиной, будь то совокупление с женщиной против ее воли с применением физической силы (самая тяжкая форма данного преступления), или сношение с женщиной, находившейся в состоянии алкогольного (или иного) опьянения, пусть и с ее согласия, но когда уровень опьянения настолько высок, что ставит под сомнение самую способность дать осознанное согласие, или совокупление без презерватива, когда женщина полагала, что он используется, или же половой акт, начатый с согласия женщины, но продолжившийся вопреки возникшему желанию прервать его, пусть хоть и в самую последнюю секунду. И это лишь некоторые вариации данного состава преступления, и все это считалось изнасилованием в контексте уголовного права. И если юридически подкованные люди понимали, что в этом смысле насильник насильнику рознь, то простой люд клеймил всех одинаково.

И почти ни одно такое дело не обходилось без пристального внимания средств массовой информации и радикально настроенных консервативных политических партий, члены которых кружили в судах в большом количестве, неотрывно наблюдая за ходом судебного процесса, оказывая таким образом давление на судей. Консерваторши не упускали возможность использовать такие дела и в политических целях. Озабоченные либеральными веяниями в политике и все чаще сталкиваясь с вопросом о необходимости вовлечения мужчин в управление государством – «Что за бред!» – те нещадно эксплуатировали дела об изнасилованиях в публичном медиапространстве. Ходили и всюду трубили об изнасилованиях как наглядном доказательстве мужской «душевной темноты», «природной кровожадности», «склонности к насилию», «варварской вспыльчивости», – черты, «совершенно неприемлемые в делах государственных», где требуется рассудительность, благоразумность, хладнокровие, дальновидность, «присущие женской натуре». Во избежание давления и шумихи подобные дела порой рассматривались в закрытых судебных заседаниях.

Подсудимый обвинялся в том, что во время полового акта с гражданкой Нагима, воспользовавшись ее невнимательностью, вызванной легкой степенью алкогольного опьянения, не использовал презерватив. Потерпевшая подтвердила, что секс был по обоюдному согласию и что половых актов было два. И если в первый раз она проследила за тем, чтобы он предохранялся, то во второй раз положила на партнера, обронив, однако, чтобы он воспользовался противозачаточным средством. Позже женщина обнаружила лишь один использованный презерватив и никаких следов второго. По всему выходило, что у подсудимого в тот вечер был лишь один презерватив, и за неимением второго он, утаив сей факт от партнерши, совершил повторный акт не предохраняясь, «поставив таким образом под угрозу здоровье гражданки Нагима».

Айгуль провела безукоризненную подготовку обвинительного дела, что вкупе с опытом госпожи Гульден и результатами соответствующих экспертиз не оставило шансов адвокатессе подсудимого, разнеся позицию защиты в пух и прах. Впрочем, адвокатессе нужно отдать должное, она до последнего умело защищала подсудимого, используя все «серые зоны» данного дела, делая упор на то, что секс без презерватива был якобы с согласия женщины. Потерпевшая отрицала согласие. Слово женщины против слова мужчины: исход очевиден.

Что до подсудимого, то выступал он мало, выглядел отрешенным, подавленным, сидел, понуро опустив голову. Потерпевшая же, наоборот, сидела с высоко поднятой головой, вела себя уверенно, местами бросая осуждающие взгляды на подсудимого, а когда нужно было описать подробности любовной встречи, делала это спокойно и без заминок, голос женщины был тверд.

Задолго до завершения процесса многие были уверены, что сторона обвинения выиграла дело, и открытым, по их мнению, оставался лишь вопрос меры наказания. Ему грозило до двух лет лишения свободы с выплатой потерпевшей денежной компенсации. Адвокатесса давила на смягчающие вину обстоятельства, пытаясь выбить мягкий приговор, в идеале – условный срок без отбывания подсудимым наказания в местах лишения свободы; похоже, понимала, что это максимум, что она может сделать для своего клиента.

Процесс подходил к концу. Последнее слово подсудимого и удаление судьи в совещательную комнату – последние аккорды перед оглашением приговора – отделяли всех от завершения дела, все это было перенесено на утро следующего дня. По завершении судебного заседания госпожа Гульден была щедра на похвалы в адрес своей помощницы, молвив, что, каким бы ни был исход дела, Айгуль должна гордиться проделанной работой и, продолжай она в том же духе, свидание с карьерой не за горами.

Айгуль была вне себя от радости. Прибежав домой, с порога расцеловала Абая, своего парня, и была весь вечер в приподнятом настроении. В ту ночь их постель была раскалена до предела. Наутро молодой человек даже пожелал, чтобы любимая каждый день выигрывала дела, вызвав лучезарную улыбку подруги, возразившей, однако, что дело еще не выиграно. Этот день должен был официально ознаменовать ее успех, думалось ей.

День же ознаменовался трагедией.

Уже на входе в здание суда она заметила странное копошение. У дверей в зал судебного заседания ее чуть не сшиб пулей выскочивший секретарь заседания, не извинившись и даже не поздоровавшись; туда-сюда сновали работницы аппарата суда, судебные приставы. Следом за ней вошла адвокатесса подсудимого, которую тут же вывела из зала – «на пару слов» – помощница судьи. Что-то екнуло в груди Айгуль, недоброе предчувствие галопом пронеслось по всему телу. Тревога и растерянность читались на лицах присутствовавших, вопросительно переглядывавшихся друг с другом. Вошла госпожа Гульден, но не с общего входа, а из судебной комнаты (плохой знак). Выглядела прокурорша подавленной, но собранной. Подойдя к Айгуль, прошептала на ухо, что заседания не будет и что она может взять сегодня выходной и идти домой. На недоумевающий взгляд помощницы добавила, что «судить уже некого». Айгуль оцепенела, пораженная. Журналистки ворвались в помещение, остановленные судебными приставами, требовавшими покинуть зал, и в этой суматохе прозвучало: «Подсудимый скончался». Слова мигом разлетелись по залу, все зашептались, загудели, повставали с мест, пока плач и причитания родственников подсудимого не заглушили собой все прочие звуки. Айгуль так и стояла бы, как истукан, если бы во всем этом гвалте слух не уловил жалобное поскуливание побитого щенка – робкий плач ребенка, вернувший ее в зал. Взгляд упал на карапуза с большим родимым пятном на виске в объятиях матери. «Ах, сынишка подсудимого, ох», – вспомнила она, на глаза полезли слезы. Не сразу заметила, что госпожа Гульден трясла ее за руку: «Иди домой, Айгуль, слышишь? Иди домой». Кивнула в ответ. Следом, правда, дернулась за удалявшейся прокуроршей и, схватив ту за рукав, шепотом, словно боялась, что их

услышат, пролепетала: «Он невиновен, он ведь был невиновен». Женщина напряглась и почти исподлобья взглянула на подопечную, силясь понять, что именно та имела в виду. И по растерянному виду Айгуль маститой прокурорше вдруг все стало ясно. Смягчившись, прошептала в ответ: «Да, Айгуль, он не был признан виновным». Презумпцию невиновности никто не отменял.

Мужчину нашли утром мертвым в изоляторе временного содержания со вскрытыми венами на запястьях и без каких-либо признаков насильственной смерти или постороннего вмешательства. Походило на самоубийство. Никаких записок или посланий он не оставил. Однако официально заявить об этой версии мешало одно важное обстоятельство: с ним в камере был еще один человек. Поэтому, как и полагается, началось следствие для установления причастности мужчины к смерти подсудимого: допросы, судебно-медицинские экспертизы и прочие следственные мероприятия.

Мужчина проходил по делу о вооруженном грабеже. Айгуль немало знала о его деле от своей коллеги, с которой тесно общалась. Профессиональная любознательность толкала ее не ограничиваться своими делами, с разрешения коллег она совала свой нос и в чужие. Того звали Кызболсын Мадина, тридцать шесть лет, безработный, ранее судимый, оказавший ярое сопротивление при задержании. Не унимался он и в изоляторе, регулярно цапаясь с охранниками, усугубляя свое и без того незавидное положение. Одному из охранников – Ернару Даяна – он умудрился сломать нос, поэтому и охранники с ним особо не церемонились.

Во второй половине дня были получены развернутые результаты судебно-медицинской экспертизы, подтвердившие, что смерть действительно наступила от потери крови из запястий и что активного физического контакта между двумя мужчинами не было, во всяком случае, никаких следов экспертизы не обнаружила. Проверяли и версию «доведение до самоубийства», допуская причастность сокамерника к смерти путем угроз и давления на скончавшегося. На допросе Кызболсыну пояснили, что его могут обвинить среди прочего и в таком преступлении, как «неоказание помощи, повлекшее смерть человека», на что тот проворчал, что всю ночь проспал, ничего не слышал, а когда утром проснулся, тот уже истек кровью. Отсутствие какого-либо шума – стонов, криков о помощи – подтвердили и охранники. В конце допроса, однако, Кызболсын вызывающе обронил, что, даже если бы тот и просил о помощи, он все равно не стал бы помогать «гребаному насильнику».

Оставалось немало вопросов без ответов. Откуда скончавшийся достал лезвие для бритья? Откуда Кызболсын узнал, что тот обвинялся в изнасиловании? Инструкция охранников строго-настрого запрещала им говорить кому бы то ни было состав преступления, в котором обвиняется человек, содержащийся в изоляторе. Со слов Кызболсына, «гребаный насильник» сам ему признался. В это верилось с трудом, ибо в таком преступлении никто по доброй воле признаваться не станет; в тех же тюрьмах осужденные за изнасилование – самые замученные люди, беспощадно угнетаемые сокамерниками и презируемые охранниками, вечно синие от побоев.

Неравнодушный к Айгуль дознаватель позже рассказывал ей, что наблюдал крайне сюрреалистичную картину по дороге Кызболсына из камеры в кабинет следователя на допрос: охранник Ернар, с еще не зажившим носом, мирно вел подозреваемого по коридорам, спокойно держа того за руки, сомкнутые сзади в наручниках. По столь дружелюбному шествию нельзя было и предположить, что неделей ранее ведомый сломал нос ведущему. Это сильно разнилось с обычной картиной с участием двух мужчин: прежде Кызболсын в сопровождении Ернара неизменно брыкался, норовя задеть последнего если и не своими скованными действиями, то словами; да и Ернар обычно держал того так жестко, как только позволяла ему должностная инструкция. Что же послужило поводом для внезапного перемирия?

Эти вопросы так и остались загадкой для многих. Те же, кто знал о лютой ненависти охранника к насильникам, молча строили свои догадки.

Блестящая карьера будущей государственной обвинительницы закончилась, так и не начавшись.

Вскоре после закрытия того дела Айгуль подала запрос о переводе в другой отдел. Она была угнетена и подолгу не находила себе места, не вполне понимая природу своего душевного замешательства. Поначалу, в пылу осмысления случившегося, она чувствовала свою причастность к самоубийству гражданина Махаббат: своими собственными руками, своей «блестящей», как выразилась госпожа Гульден, работой она толкнула подсудимого в пропасть отчаяния. Но данная мысль не выдержала экзамена холодного разума, остывшего от первых эмоций, и была решительно отброшена. В том, что случилось, нет ни капли ее вины, рассудила она. А кто повинен в его смерти? Он сам? Технически – да. Но непонятное чувство снедало Айгуль, подсказывая, что все не так просто, не так прямолинейно. Нутром чуяла, что это неверный ответ, – правильный по форме, но неверный по содержанию. Не все она могла понять и объяснить себе ни в те дни, ни в последующие, но семя сомнения было брошено в плодородные недра ее пытливого сознания.

Неожиданно для себя Айгуль поняла, что там работать ей уже не хочется и не может. Нельзя сказать, что девушка была настолько шокирована исходом того дела, что не могла продолжать работу, просто ей вдруг стало ясно, что ее «борьба» не здесь, но в другом месте; еще не знала где, но не здесь.

Напрасны были уговоры госпожи Гульден, всячески пытавшейся отговорить свою «звездочку» от ухода, апеллируя и к своему личному опыту – и у нее-де бывали моменты сомнений в молодости, – Айгуль была непреклонна.

Синяя куртка

Ноябрь близился к концу.

Дамир, вернувшись из школы, сообщил родителям, что школьное мероприятие по поводу Дня отцов, ежегодно отмечаемого в стране двадцать седьмого числа, состоится в субботу, двадцать шестого числа, и что родителей, в особенности отцов, просили быть все непременно, так как дети готовят театрализованное представление.

Несмотря на недвусмысленное название праздника, этот день, изначально посвященный исключительно отцам, со временем стал праздником всех мужчин. В той или иной вариации подобный праздник отмечался в большинстве стран мира; где-то он назывался Днем защитников – праздником вооруженных сил в тех странах, где в армии служили только мужчины, где-то – Днем мужчин или Днем отцов, а где и Днем рабочего – в честь сугубо мужских профессий, связанных с тяжелым физическим трудом.

Причины празднования в конкретный день в разных странах тоже варьировались, отличаясь разительно. В Казахии этот день отмечался в указанную дату потому, что двадцать седьмого ноября был принят закон об оплачиваемом отпуске в связи с отцовством. Данному закону несказанно обрадовались эти самые отцы, поскольку суммы выплат были значительными, пусть и меньше, чем матерям, но для многих мужчин они превышали их регулярные заработки. При этом такое право было закреплено не только за биологическими отцами и мужьями, но и за мужчинами, совместно проживающими с матерью ребенка.

Обычно на школьные мероприятия и родительские собрания сына ходил Икрам, Айгуль же была запасной, на случай если муж не мог. Собственно, в этот раз отец мальчика и не мог ввиду командировки, запланированной аккурат на те дни, поэтому явиться на мероприятие, посвященное Дню отцов, выпадало матери.

Икрам работал в сфере ветроэнергетики – одной из высокоразвитых отраслей энергетики страны. Свой профессиональный путь он начинал с самых низов, помощником электрика по установке и обслуживанию электрогенераторов в ветряных электростанциях, куда попал по распределению сразу по окончании политехнического института, и успел поработать на всех этапах их эксплуатации: от установки до технического обслуживания.

К слову, в период своих рабочих, пыльных странствий между ветряными электростанциями, разбросанными по необъятной казахской степи, он и познакомился с Айгуль.

Оставив службу государственного обвинения, Айгуль, проработав еще в одном месте годик-другой, оказалась в структуре социального развития регионов, где командировки были часты. Однажды, в самый разгар лета, она по работе ехала на поезде в удаленный район. Ближе к полудню поезд остановился на крохотной станции, где в их купе, что она делила с аульской пожилой женщиной с внуком, подсел молодой человек, облаченный в униформу технической специальности и нагруженный какими-то чемоданчиками, баулом, массивной связкой кабелей, весь в поту. То был Икрам.

«Ой, хоть бы не вонял», – первое, что подумалось ей.

Он вроде и не вонял, но его одежда источала характерный запах инструментов вперемишу с какой-то технической смазкой, крайне пахучей, неприятно щекотавшей нос, да и кружева пота, похоже, добавляли перчинки во все это «благоухание». Иными словами, он не вонял, но пахивал. Второй мыслью девушки было недоумение: почему у всех работников подобных профессий спецодежда всегда не по размеру – неизменно велика? Мысленно перебрала в памяти всех встречавшихся ей электриков, сантехников, плотников, строителей и не вспомнила ни одного, на ком бы рабочий костюм сидел как влитой. Хотела было приоткрыть окно, призвать на помощь свежий воздух, но сдержалась, дабы не ставить в неудобное

положение незнакомца. Внутренне смирилась с тем, что продолжение пути потребует терпения.

Икрам, расположившись напротив, уловил по невербальной реакции обеих женщин, что источает малопривычный аромат, к которому сам настолько привык, что уже и не чувствовал. Пришлось прибегнуть к шаблонному трюку: он вышел в коридор вагона, якобы полюбоваться мелькающими за окном пейзажами, на деле же проветриться и подождать, пока пот высохнет. Вернувшись в купе, уселся, прислонившись спиной к стене, пытаясь таким образом максимально удалиться от привлекательной соседки. Уставился в окно, мысленно проклиная безотказно действовавший закон подлости: когда выглядишь презентабельно – такой девушки не встретишь; стоит только надеть несуразную спецовку, порядком вымазаться, вонять и украсить обильными кружевами пота – она тут как тут, да еще и на несколько часов! Как часто делал в таких неловких ситуациях, а подобное случалось с ним нередко, уронив голову набок, притворился уснувшим.

Ситуацию спас мальчуган, который не только разрядил обстановку, но и, как оказалось, презентабельно преподнес непрезентабельного Икрама сидящей девушке.

Мальчик, возившийся на верхней полке, завидев, что дядя уснул, свесил голову вниз и шепотом спросил бабушку: «Чем это дядя воняет?» Шепот – одно название, слова прозвучали так громко, что Икрам невольно прыснул со смеху от столь неуклюжей попытки сказать что-то «на ушко», заразив смехом остальных; взрослые бросали добродушные и благодарные взгляды на мелкого спасителя, хихикавшего сверху. Всякая неловкость мгновенно улетучилась. Айгуль смело приоткрыла окно. Приободренный малыш пошел дальше, забросав дядю вопросами: что в чемоданчиках? почему у него такая одежда? и чем дядя занимается? Икрам начал с последнего вопроса, и первые же его слова приковали внимание не только мальчугана, выпучившего глаза и приоткрывшего рот от изумления, но и Айгуль, невольно оторвавшейся от своей книги.

Он сказал, что охотится за ветрами.

Икрам объяснил ребенку, что «ветряные мельницы», которые все чаще и чаще люди стали обнаруживать в центральных регионах, богатых на сильные ветра круглый год, это его рук дело. Дальше мужчина увлеченно поведал, в чем именно заключается его работа, адаптируя рассказ под возраст ребенка и избегая профессиональной терминологии, побудив Айгуль по-иному взглянуть на молодого человека. Видя интерес премилой соседки, Икрам машинально адресовал свое повествование уже в адрес обеих, поочередно глядя то на мальчика вверх, то на Айгуль, попутно отвечая на их вопросы. Бабулька не выказывала особого интереса к рассказу «сантехника» (для нее все в спецодежде были сантехниками), лишь пару раз бросив понимающе-улыбчивые взгляды на мило беседовавших молодых людей.

Скоро удовлетворив свой интерес, мальчуган умчался бегать по коридору вагона. Между тем беседа молодых продолжалась. Книга в руках Айгуль была забыта.

Он поведал ей особенности работы и специфику ветроэнергетики в целом, вкрапляя в рассказ анекдотичные истории, приключившиеся с ним в непрерывных командировках. Она слушала с интересом, задавала вопросы. Искреннее любопытство девушки было довольно объяснимо: она была сильна в гуманитарных науках, тогда как технические специальности для нее были чем-то непостижимым, иным, новым миром. Айгуль особенно оживлялась, когда речь шла не об электромонтажной работе, а о ветровой энергии в целом, поскольку отрасль была нова, можно сказать, на заре своего промышленного производства. Его способность объяснять сложные технические вещи простым, доступным обывателю языком облегчала беседу, а умеренное чувство юмора придавало ей динамичности. Она многое узнала: и что простого непрерывного ветра недостаточно, чтобы установить ветрогенераторы, что учитывается множество дополнительных факторов, таких как, к примеру, средняя ежегодная сила потока ветра, климат – холодная ли зима или нет, влиявший на выбор соответствующих лопастей ветро-

генератора, близость к населенным пунктам (из-за шума и вибрации), воздействие на растительный и животный мир. Вот только недавно, рассказывал он, установка ветрогенераторов была отменена в одной местности, идеально подходившей по всем техническим параметрам, но по которой, как оказалось, пролегали пути ежегодной миграции птиц. Экологи-орнитологи утверждали, что гигантские ветряные сооружения могут стать помехой птицам и спровоцировать сбой в тонко настроенной миграционной экосистеме. И отменили установку чуть ли не в последнюю минуту, когда Икрам с бригадой уже сидели на чемоданах для выезда на электромонтажные работы. Министерству охраны окружающей среды, находившемуся под жестким давлением восставшей общественности, возглавляемой неправительственной организацией за сохранение животного мира, удалось-таки убедить министерство энергетики искать ветер в другом месте.

Беседа перешла в общее купейное чаепитие, предводительницей и идейной вдохновительницей которого выступила бабушка мальчика, которая, как оказалось, возила с собой не только полно еды, но и, похоже, всю домашнюю кухонную утварь. К тому же она оказалась весьма словоохотливой, когда дело не касалось ветряных мельниц, легко влившись в общий разговор и неустанно призывая Икрама есть не стесняясь, «на голодный желудок ведь не поработаешь».

От него все так же несло тем запахом, но Айгуль его уже не чувствовала.

Через часа три он вышел на крохотной станции посреди степи, где не было и мало-мальского здания, лишь одинокая ветхая будка пустовала поодаль. Стоя со своими чемоданчиками, кабелями и баулом, он ждал бригадного автобуса, что должен был забрать его. Медленно удаляясь, Айгуль из окна наблюдала за этим охотником за ветрами, покинутом на совершенно безлюдной станции и спасавшимся от пекущего солнца в тени несчастной будки.

«Какой интересный», – мысленно заключила она. Услышав же от пожилой соседки: «Да, но так пахнет, уф-ф!» – дернулась, осознав, что ненароком подумала вслух. Бабушка добродушно и понимающе улыбалась в ответ. Женщины снова принялись за чаепитие, беззлобно раскритиковав в пух и прах «несуразную униформу» Икрама-электромонтажника; впрочем, изрядно досталось и спецодежде других профессий той же масти...

– В командировку почти на целую неделю? – недовольно протянула Айгуль. – Что у вас там случилось?

– Да пока ничего, просто заседания с тамошней местной администрацией, информационная работа, так сказать... Там население ворчит по поводу установки «мельниц», намеченной на начало весны. Ну, побаиваются шумов, к тому же там пастбищные угодья, вот и волнуются. Мы им уже столько раз объясняли, что современные ветрогенераторы почти бесшумны, кроме того, будут установлены в отдалении от аулов, предоставили заключения всех специалистов. А скотоводству вообще никак не помешают: занимают мало места, на большой высоте, в смысле, вращение лопастей очень высоко от земли. Вон в других районах стоят же, никому не мешают, скот под ними мирно ходит, пасется. Нет же, «придите, объясните», чуть ли не общественные слушания по этому поводу устраивают.

– И что, сам им будешь объяснять? Можно было и кого-нибудь другого отправить для этого...

– Так мы их уже отправляли, – перебил Икрам, – Дидар с Абзалом ездили. Теперь им кураторов проекта подавай! У них там целая региональная комиссия создана, вот и просят.

– Опять за ветром, – выдохнула Айгуль, обняв Икрама сзади и уткнувшись носом в шею. – Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч.

Оба одновременно вспомнили день их знакомства, замерев в этом спонтанном моменте взаимной нежности.

Дамиру, что крутился подле, всегда было одновременно и приятно, и жутко неловко, когда родители при нем забывались в трогательных порывах чувств, отчего он ретировался к себе в комнату.

– Дамирчик, котенок, я пойду в школу! Скажи, что я буду! – долетел до него ответ матери...

День отцов наступил скоро.

Последняя суббота ноября выдалась на славу: стояла ясная безветренная погода с тем легким бодрящим морозцем, от которого больше приятно, нежели холодно. Веселый морозец побуждал многих приоткрывать окна, приглашая щекочущую свежесть в дом.

Городской парк вновь облюбовали снегири – предвестники зимы. Появление этих пташек неизменно предшествует выпадению снега. Эти броские птицы были любимцами горожан, радуя взоры своим ярким видом на фоне предзимнего пейзажа, скудного на краски. Их ярко-красный или буровато-коричневый окрас оперения на брюшке, горлышке и груди, с черной шапочкой на голове, невольно бросается в глаза, приковывая взгляды прогуливающихся в парке. К тому же снегири не особо сторонятся людей, время от времени их подкармливающих.

Один из снегирей, вдоволь набивший брюшко найденными на земле семенами давно опавшей рябины, развлекался тем, что прыгал по веткам деревьев, празднично наблюдая за сновавшими в парке людишками. Беспечно шагавшие неподалеку женщина с мальчиком заинтересовали птаху. Те остановились и присели на скамью, предварительно проведя по ней рукой и убедившись, что поверхность не мокрая. Поведение и теплота взаимного обращения выдавали в них мать и сына.

Снегирь подлетел и присел на нижнюю ветку дерева рядом со скамьей. Мать с ребенком ничем особенным не выделялись на фоне других гостей парка, а впрочем, не внешностью они приковали внимание птички, но причиной совершенно иного характера.

Зоркий глаз снегиря, что летает высоко да видит далеко, заметил странную динамику некоторых передвижений в парке. Птаха звучно прочирикала пару раз в адрес сидевших на скамье – безуспешно: те были увлечены беседой, не замечая горланившего снегиря. Птичка вздумала действовать решительнее и подлетела к самой скамье, приземлившись на ее подлокотник со стороны мальчика. Прочирикала еще раз. Тут они обернулись и, обнаружив краснобрюхое создание, расплылись в улыбках, дивясь отважности птахи, устроившейся столь близко. Очередное чириканье. Те машинально дернулись копошиться в своих карманах в надежде найти что-нибудь съестное – без толку. Птичка вновь прочирикала. Женщина вытащила сотовый телефон и щелкнула пару раз. Чириканье. Снегирь вспорхнул и вернулся на дерево. Следом поднялись и они и, помахав снегирю, двинулись дальше.

Ах, если бы люди понимали чириканья!.. Если бы люди их понимали, чириканье именно этого снегиря могло означать следующее:

«Эй, там, на скамье!.. Женщина! Женщина! Мне есть что сказать вам».

«Эй вы, я тут!.. Уф, наконец-то!»

«Так вот: за вами следят... Во-о-он та женщина в синей куртке, что якобы кормит моих сородичей, она за вами следит! Ой как следи-и-ит!»

«Да не нужно мне вашей еды, сытая я! Разуй ты глаза! Следят же за вами!»

«Тьфу ты, дура!»

«Библи»

Инес Берта пробегала свое излюбленное место в парке – узкую извилистую тропинку меж сосен, ведущую к водоему. Здесь ей было приятно бегать даже в зимнее время. Пусть деревья стоят голые, пусть сыро, серо и холодно, но настроение поднималось каждый раз, когда она проносилась тут; годы бега сделали свое дело, напечатав на карте ее подсознания формулу: бег плюс данный отрезок равно удовольствие. Причем формула – как и подобает математическим формулам – работала безотказно, ведь даже в откровенную непогоду, пробегая здесь, Инес невольно расплывалась в улыбке.

Бег был щедр к ней, обильно снабжая хозяйку умиротворением, отличным настроением и жизненными силами. Помимо физического и эмоционального комфорта с годами она открыла для себя еще кое-что: бег дарил ей свидания с самой собой. В движении она лицезрела себя в своей наготе – наготе душевной. Нигде ей не удавалось познать себя так глубоко, как во время успокаивающего постукивания кроссовками по земле, звучащего в унисон с равномерным биением сердца. Кто я? Где я? С кем я? Как я? Куда я? Я ли я? Все эти вопросы приобретали особые оттенки во время бега, а ответы на них отдавали той необычайной ясностью, сродни откровению, что почти недостижимо в обычном состоянии, в бытовой обстановке. Нередко важные решения она намеренно откладывала на время пробежек, особенно утренних, ибо давно поняла, что утренний бег дарит только правильные решения, и нет ни одной проблемы – ни одной! – с которой бы не справился бег.

Инес не любила выходить на пробежку с часами и другими гаджетами для бега, но в рабочие дни все же надевала часы, чтобы контролировать время, иначе ноги-боги уносили ее в «дивное царство Эйфория» (фантазия ее матери), где время не существует, где оно забывается. Без часов она не раз возвращалась в «реальность» много позже запланированного и, ахнув, мчалась домой сломя голову, местами – что греха таить! – проскакивая перекрестки на красный свет светофора, чтобы успеть на работу. Но даже опаздывая, на бег она не гневалась, разве что ласково пожурит и тут же забудет.

Часто думала о маме во время пробежек, особенно в последние годы, когда той не стало. Думала о ней с благодарностью, ведь именно мама привела Инес в бег. То был ее дар – один из множества, заботливо преподнесенных матерью.

Берта-старшая была заядлой бегуньей, участвовала во всевозможных любительских соревнованиях и стартах, причем на самые разные дистанции, начиная с «пятака» (на беговом жаргоне – пять километров) и вплоть до марафона. Несмотря на жгучую страсть к бегу, она всегда твердила, что бег – сугубо вспомогательное, второстепенное для нее увлечение, «помогающее остудить голову». Любила повторять: «Бежишь – голова отдыхает, работает голова – тело отдыхает!» Впрочем, никто и не сомневался во второстепенности для нее этого занятия, ибо то, на что способна была голова Берты-старшей, ее ногам и не снилось!

Теперь вот и Берта-младшая активно «остужала голову», не пропуская массовых забегов, попутно заманив в эту «секту» своих коллег и друзей. И завлекла не активной агитацией, а собственным примером. Собственный пример, однако, был бессилен перед Бьорном; пробовала с ним и активную агитацию – тоже без толку. Он иногда бегал, точнее, «побегивал», и вот эта эпизодичность, это «баловство бегом», по мнению Инес, и мешало ему втянуться и почувствовать все прелести данного занятия. Как жаль! Ведь не для себя она хотела этого, но для него, исключительно для него. Хотела поперчить жизнь любимого яркими красками, опрокинуть ему на голову «ушат эндорфинов», как выражалась ее мама. Нередко ведь Инес наблюдала известную метаморфозу, когда поначалу недоверчиво настроенные к бегу люди (а порой и вовсе враждебно), втянувшись, ходили потом с характерным сиянием в глазах, заряженные, с улыбкой на все лицо, жаждая скорее напялить кроссовки и выбежать из дома. Тем более

что с бьорновской скромностью и не самой высокой самооценкой такой эмоциональный заряд определенно мог пойти ему на пользу, думала Инес. Да и легкое чувство несправедливости снесло ее: она, бегая, получала все эти блага, а он – нет.

Сетовала на себя, что не смогла подобрать к нему ключи. «Ах, не нужно было так рьяно насаждать ему это, – по временам мысленно гнобила себя, – нужно было аккуратнее, шаг за шагом, как бы между прочим». Видимо, в этом и заключался ее промах, размышляла она, полагая, что у Бьорна включился некий защитный механизм, блок на эту идею; ведь, добейся Инес своего, она вышла бы победительницей, а он – убежденным, а значит, проигравшим. Подобная антагонистическая динамика мышления отнюдь не чужда отношениям в паре. И за собой ведь замечала, что то, что говорил и советовал Бьорн, она частенько игнорировала или не воспринимала всерьез, пока кто-нибудь со стороны не говорил то же самое. Странно, но правда: что рядом – не ценится, что далеко – ценнее, вернее, правдивее. Почти как с детьми: сколько ни говори своему дитя, что на улице холодно и нужно одеться потеплее, – не слушает, но стоит то же самое повторить постороннему человеку – тут же кутается. Может быть, потому, что близкий человек подсознательно воспринимается лицом заинтересованным, субъективно настроенным, а посторонний – объективным? Возможно. За этими мыслями Инес не раз наставляла себя прислушиваться к тому, что говорит Бьорн, не недооценивать его, но следовать этому не всегда получалось...

Возвращаясь с пробежки и пробегая мимо ближайшей к дому автобусной остановки, она, к своему удивлению, не обнаружила там сына. Взглянула на часы, полагая, что это она запоздала и автобус уже проехал; да нет, вроде вовремя. Вот и его пятьдесят второй сине-желтого цвета вынырнул из-за угла и подъезжал к остановке, а мальчика все нет. «Ах, неужели проспал!» – с досадой пронеслось в голове матери, как вдруг мимо сломя голову промчался юноша и со словами «Пока, мам!», вовсю махая водителю, буквально залетел в уже закрывавшиеся двери автобуса. Инес испуганно ахнула. «Уф, успел!» – выдохнула женщина, вознамерившись вечером отчитать отпрыска за опасные беганья-прыганья.

Зайдя домой, застала Бьорна завтракающим.

– Что, Сайрус проспал?

– Привет! Да нет, с чего ты взяла? А-а, он бежал на остановку?

– Нет, бежала я, а он – пролетал! Причем минуя остановку, залетел сразу в автобус!

Бьорн громко прыснул со смеху.

– Это не смешно! Так можно и под колесами оказаться!

– Просто... ты так интересно сказала, что я аж представил, как пацан пролетает над остановкой и влетает в автобус.

Тут захихикала Инес, сквозь улыбку обронив:

– Короче, гони его из дома пораньше, чтобы спокойно добирался.

– Ему дед позвонил, с ним мальчик и заговорился.

– А-а, – протянула она, направляясь в душ.

Сквозь шум льющейся воды до нее донеслись слова:

– Старик тебя спрашивал, кстати.

– Пожалуйста, не называй папу стариком, – уже за завтраком продолжила она, но без тени упрёка.

– Хорошо, извини. Просто привычка... своего отца я ведь так же называл.

– Знаю, но мне не нравится, не по душе.

– Без проблем! Так вот, он тебя искал, просил перезвонить, как будет удобно. Ничего срочного, сказал, просто хотел с тобой поговорить.

– Из офиса позвоню, – набитым ртом пробубнила она. – Ты поздно будешь сегодня?

– Да нет, после шести буду свободен. Поужинаем где-нибудь? Сай просил его не ждать, сказал, что будет поздно, – последние слова прозвучали громким заговорщическим полусшепотом.

– У-у-у, – протянула Инес, улыбаясь, – похоже, эта Кайла его окончательно околдовала!.. Да, давай поужинаем вдвоем, заодно и отпуск обсудим. Я тебя наберу после обеда и сорентирую по времени.

– Окей.

Но поужинать вдвоем у них не получилось. После обеда она сообщила ему, что ужинает вечером с отцом. Тот хотел с ней встретиться, поговорить; поводов для беспокойства не было, пояснила она, но необычные нотки в голосе родителя побудили ее отужинать с ним не откладывая. Бьорн отнесся с пониманием – во всяком случае, не роптал.

Почти все свидания с отцом проходили в кафе «Библ» – излюбленном заведении матери Инес. Особенно после ее смерти оно стало неизменным местом их встреч; кофе ли попить, пообедать или поужинать – только там! Кафе славилось чудесной домашней выпечкой и отменным кофе, за чем Берта-старшая и любила заходить сюда в свое время, как, собственно, и прочие завсегдатаи. Кухня же здесь была пусть и добротная, но без особых кулинарных изысков, и все же Инес с отцом повадились ужинать именно здесь, когда хотели неспешно побеседовать. Если поначалу их сюда толкала память о матери и подруге, то в последнее время шли сюда уже по привычке; договаривались лишь о дне и времени, место даже не обсуждалось.

Сколько Инес себя помнила, «Библ» всегда был здесь. Заведением из поколения в поколение владела семья Станка, его основавшая. Еще в начальной школе она училась с Альбертом Станка, пухленьким мальчиком, что был нынче администратором и правой рукой своей двоюродной сестры – Мари Станка, хозяйки кафе.

В прошлом, в эпоху основания и становления кафе, причудливое название невыгодно выделялось на фоне прочих заведений квартала, манивших посетительниц более изысканными вывесками, такими как «Кафе Гранд Опера», «Кафе Площади Святой Анны» или «У Мадам Беатрис». С годами же, а лучше сказать, десятилетиями, оно, наоборот, придало заведению особую ауру, снискав – вкупе с превосходной выпечкой – привязанность местных жителей. Да и тот факт, что кафе представляет собой истое семейное дело на протяжении уже трех поколений Станка, играет немаловажную роль: люди любят все семейное, верят всему семейному, как гаранту качества и заботы. Тот же ресторан «У Мадам Беатрис» пользовался в свое время небывалой популярностью у местных по той же самой причине; теперь же, когда от мадам Дельфин Беатрис не осталось ничего, ни «капельки крови», он превратился в весьма посредственное заведение, больше для случайных посетительниц и туристов, которых, однако, всегда немало благодаря выгодному расположению ресторана.

Название «Библ» отнюдь не было маркетинговым ходом покойной Анны Станка, основательницы кафе и бабушки Мари. Происхождение названия имело две версии, причем обе были основаны на реальных событиях семьи Станка. По этой же причине никто не знал наверняка, которая из них легла в основу названия, поскольку покойная Анна при жизни упорно молчала на сей счет. Почитай, и нынешние Станка не знали.

У Анны была младшая сестра – «суший ангел», со слов окружения семьи. Ангел в юном возрасте просто обожала булочки и, уплетая их, всегда напевала незамысловатое «Библ-библ-библ», раскачиваясь при этом взад-вперед. Вряд ли эти слова-звуки что-то означали, просто ребенок напевал мотив, вызывая умиление родных и близких. Со временем, однако, у девочки обнаружили сильные психические отклонения, которые, видимо, были врожденными. Несмотря на всевозможные лечения и огромные траты весьма зажиточной семьи, она кончила свою короткую жизнь в психической лечебнице, где провела чуть больше трех лет. На следующий день после ее тринадцатого дня рождения во время утреннего обхода бедную девочку нашли в кровати бездыханной. Ангел лежала в своей обычной позе: комочком на пра-

вом боку, с плотно подпертыми к груди ногами, соприкасавшимися с опущенной на них головой, крепко сжатой обеими руками, точно пыталась защититься от слишком громкого звука... Анна Станка назвала кафе в память о ней, думали одни.

Отец Анны, Эббер Ксилла, воевал в Нормандском конфликте и был ранен в бою от разорвавшегося рядом снаряда. С разорванной тазобедренной костью, обездвиженный, да еще и контуженный, он так и остался бы помирать на поле, если бы не проползавший рядом раненый солдат, пытавшийся под покровом ночи добраться до своих. Он-то и спас отца Анны, дотаскив его до своих частей, волоча того по земле за шиворот военного комбинезона. Эббер остался инвалидом, ходить так и не смог и был прикован к инвалидному креслу до конца своих дней. Дома же всем рассказывал, что его спас Библ. После контузии у него были серьезные проблемы с речью, сопровождавшие ветерана, как и кресло, до конца жизни. Все сообразили, что «Библ» – либо кличка того солдата, либо имя, плохо произносимое отцом (он уже все произносил на свой лад). Так бы и не узнали наверняка, если бы однажды отцу не пришло письмо от своего спасителя. Подпись в письме гласила: «Бабель Герта». Эббер же, тыкая в подпись, триумфально повторял: «Библ! Библ!» В честь человека, спасшего отца, и было названо кафе, с сохранением, однако, отцовского произношения, думали другие.

Со временем две довольно незамысловатые версии-истории обросли невероятными подробностями; каждый, пересказывая, добавлял что-нибудь от себя, приведя к тому, что у каждой версии были две-три захватывающие подверсии, у каждой из которых, в свою очередь, было немало вариаций на любой вкус и цвет. В итоге истории обратились в слухи, слухи – в людскую неуправляемую молву. Как далеко от правды могут завести праздно болтающие уста, можно судить по следующей мутации истории: основательница кафе была непомерно алчной до денег и, желая остаться единственной наследницей богатой семьи, решила избавиться от своей младшей сестры. Она навела порчу на булочки, которые вдруг начала выпекать дома для сестренки; в итоге у последней помутился рассудок, бедняжка сошла с ума и умерла в психбольнице. А чтобы отвести от себя подозрения и попользоваться слухи о зловредных булочках, уже единственная наследница твердила, что «все это чушь собачья» и что выпечка всегда была ее страстью, в подтверждение чего и вынуждена была впоследствии открыть кафе. Рассказ венчала ремарка, что при жизни Анны Станка булочки в «Библе» не пользовались успехом у местных, считалось, что они прокляты. А на вопрос слушателя: «Так почему же злодейка кафе „Библом“ назвала?» – отвечали: «А черт ее знает!»

Пусть покойная Анна и знать не знала о маркетинговых уловках, да и не желала знать, но эффект от странного названия заведения вкупе с витавшими вокруг него слухами вышел самый что ни на есть маркетинговый. «Библ» с годами превратился в своего рода неформальную достопримечательность квартала, куда намеренно заходили многочисленные неместные и даже иностранные туристки, гонимые сюда слухами и путеводителями, специализирующимися на необычных маршрутах и диковинных местах. Последних Альберт безошибочно узнавал с порога, называя их «чудиками»: те заходили с видимым трепетом и ожиданием быть замороженными, околдованными или даже проклятыми, причем чем угодно: булочками, кофе, едой или водой – все равно! – лишь бы прикоснуться к чему-то необычному, странному, ужасному! Посидят, посидят чудики, поедят, озираясь по сторонам, и уходят замороженные... своими же мыслями, впоследствии клянясь, что «в том месте определенно что-то есть», а особо впечатлительные еще и наблюдая, не обрушится ли на них череда неприятностей и неудач.

Что до Мари и Альберта, то они в тайные игры не играли и, если их спрашивали про название кафе, отвечали как есть, ограничиваясь, однако, версией про войну. Так было проще и легче. Так отвечали и завсегдатаи кафе, если вдруг им задавали похожий вопрос. Никто не хотел тревожить душу бедной Эвелин Станка...

За ужином отец с дочерью поведали друг другу последние новости, посплетничали про родственников и знакомых, не обошли вниманием и «по уши влюбленного» Сайруса, кото-

рого дед просто обожал. Обслуживал их, как обычно, сам Альберт. В школе Инес с Альбертом не были особо близки, но она была одной из немногих, что не высмеивала его полноту и всегда обращалась к нему по имени, тогда как большинство звало его «пухликом» или «толстяком». Поэтому и без того всегда милый с посетительницами Альберт с ними был еще милее и всегда после ужина угощал их парой рюмочек душистого домашнего ликера, снискавшего славу у постоянных клиентов.

Зная отца как облупленного, Инес с ходу уловила, что за всеми вопросами про работу, семью и дела он оттягивал момент, ради которого, в сущности, и хотел повидаться с ней.

– Па-ап, ну все, давай, выкладывай, – перешла она в наступление, призывно потрепав его морщинистую немолодую руку.

– Да нет... ничего особенного, просто увидеть хотел... совсем сентиментальным стал в последнее время. Хожу по местам, что любил в молодости, замечаю, что частенько копаюсь в старых вещах: своих и твоей матери... да и твоих детских тоже. Не то, чтобы я намеренно хотел найти что-то или вспомнить, а так – бац! – вдруг обнаруживаю себя копающимся в вещах или идущим куда-то... начала не помню, как будто в середине действия уже оказываюсь. Помоему... – прокашлялся.

– Па-ап, не говори так!

– Нет, нет, ты не думай, что мне грустно, просто наблюдение... Мне что, мне грех жаловаться! Оглядываясь назад – я доволен, я пожил жизнь! Долгую и... и содержательную. Был с твоей матерью, ты есть, творил в жизни в меру своих способностей...

– Па-а, не говори о себе в прошедшем времени, прошу тебя, – с мольбой протянула дочь.

– Нет, нет, ты не думай... вот только... – замялся малость, колеблясь, но сочувственный взор дочери придал старику сил, и он выдохнул:

– Я был хорошим отцом, Инес? – С этим вопросом его глаза мгновенно заволокла сверкающая пелена слез, застывшая на месте, точно желе; стоило лишь моргнуть, и глазные осадки стремительно помчались бы вниз по испещренным морщинами щекам. Сквозь эту пелену он смотрел на дочь, затаив дыхание.

«Ах вот оно что!»

– Да, пап, ты был... ты хороший отец, – спокойно ответила она, взяв его руку в свою; потом под села к нему и положила голову на его уже не могучие плечи.

То был нужный ответ. То был правильный ответ. Не «очень хорошим», не «отличным» и не «самым лучшим» – все это не то, все это пафосно и, в конце концов, неправда. И она не промахнулась: именно этот ответ больше всего ласкал его слух, бальзамом ложась на душу. Он не был отличным отцом, ни уж тем более самым лучшим, он и сам это прекрасно знал. Для всех этих титулов его слишком часто не было дома в бытность ее ребенком и особенно подростком; будучи звездой балета, а следом и знаменитым хореографом, он был поглощен карьерой и часто гастролировал по миру.

– Я вот рылся в твоих детских фотографиях, и почти везде ты с мамой. Не так много фотографий, где мы вместе. Потом вспоминал твое детство, юность – я больше помню тебя на экране компьютера или планшета, по видеозвонкам... Теперь же вот мучусь: стоила ли моя карьера того, чтобы меня не было с тобой на твоих детских фото? Думаю, нет, не стоила, оттого и мысли всякие...

Словно нарочно в этот момент к двери направлялась пожилая дама и, увидев его, подошла к их столику со словами: «Добрый вечер! Мое восхищение и почтение вам, господин Флавия!» Он ответил любезностью. Это столь привычное и приятное ему действие сейчас имело обратный эффект: впервые в жизни слова признания ему были неприятны.

– Пап, ты всегда был рядом, когда был нужен, – успокоила его Инес, поцеловав в щеку. – Мама же могла позволить себе что угодно, быть где угодно и работать когда угодно, вот я с ней и была все время.

– О-о, твоя мама действительно могла многое! – просиял он, оживившись. – Нам с тобой откровенно повезло с ней! Знаешь, как ее называли в научных кругах?

– Как ее только не называли! – ответила она, вернувшись на свое место.

– Светоч!

– Ну, может, вам и повезло друг с другом, а мне с вами точно не повезло в этом плане: мать – светоч науки! Отец – звезда балета! А мне как жить с этим?! Меня в детстве взрослые нашего района никогда не называли по имени, никогда! Только «дочь Берта» или «дочь Флавия». До сих пор, если случается оказаться около вашего дома, слышу то же обращение от старых жильцов. Уже сама шестнадцать лет как мать, а там все в дочерях хожу. У вас есть ваше бессмертие, а мне куда? Вот так и живу в вашей тени, – псевдообиженным тоном молвила она.

– О-о, моя бедная девочка! – улыбаясь, поддержал шутку господин Флавия, потрепав руку дочери. Настала его очередь утешать.

В этот самый момент Альберт, тонко чувствующий настроение людей, подлетел к ним с двумя рюмками ликера.

– Как всегда, от заведения! – отчеканил он, добавив с лучезарной улыбкой: – Господин Флавия, ваши визиты придают нашему заведению особую, творческую ауру. Глубоко убежден, что исключительно благодаря вам сюда стали захаживать люди искусства, писательницы, художницы. Очень, очень вам рады!

– Мальчик мой, любой каприз за ваш ликер!

– А я, Альберт, простая и никчемная посетительница? – с шутливым упреком вставила Инес.

– Инес, ты важнее: ты спасла мои школьные годы! – незамедлительно последовал ответ.

– Ох, спасибо, Альберт! Как мед на душу, хоть кого-то спасла!

– Ай да Альберт! К любому подход найдет! – восхищенно прибавила она, когда тот удалился.

– Истинный Станка! – доброжелательно заключил отец. – Ах! – тут он вдруг стукнул себя по лбу, всплеснул руками, всем телом красноречиво досадуя на свою «никчемную память» (а языком тела, как и подобает всякому артисту балета, он владел бесподобно), и, нырнув рукой во внутренний карман пиджака, извлек конверт.

– Кстати, вот, в твоей комнате нашел... в полосатой коробке с открытками лежал, на твое имя, открытый, подписанный мамой, а внутри – плотный запечатанный конверт, но без адреса. Видимо... – Поняв по реакции дочери, что той хорошо знаком конверт, облегченно выдохнул: – А-а, ты в курсе...

– Да, да, я знаю про него.

– Слава Матери! А то я боялся, что ты его не видела, мало ли...

– Я сама его туда положила... после того, как мы вернулись домой после похорон. – Хотела было ограничиться этими словами, но отец так призывно и мило молчал, ожидая продолжения, что она обронила: – Это было одной из последних просьб мамы – передать запечатанное письмо кое-кому, если тот человек придет на похороны. Он не пришел, вот оно и осталось.

«Ах, нужно было просто соврать, что это для меня!» – тут же пожалела она, проклиная свой длинный язык.

– А, да? И кому же?

– Магнусу Кельда, – невозмутимо ответила Инес, невольно наблюдая, какой же эффект произведет сказанное на отца, – она с ним работала давным-давно, это...

– Я знаю, кто это! – резко выпалил он, внутренне подтянувшись; легкое недовольство галопом пронеслось по морщинам отца. – Мама сама тебя попросила?

– Нет, я узнала об этом незадолго до похорон... конверт передала мне Анаис, сказав, что мама попросила передать его мне, когда та навестила маму в больнице в последний раз... а в конверте для меня была записка мамы с просьбой.

– А что же ты не передала? – уже мягче спросил он.

– Я же сказала, пап, мама в записке ясно наказала: передать письмо, только если он придет на похороны. Он не пришел.

Отец пребывал в крайнем замешательстве, она это видела. (Сто раз уж пожалела, что не соврала!) Он пару раз порывался что-то сказать, но сдержался. А она все корила себя за промах: своей прямоотой доставила отцу совсем ненужные переживания.

Поборов смятение, он спокойно произнес:

– Не знаю, знаешь ли ты, что они раньше были вместе... В смысле, не только по работе, у них были долгие отношения, давным-давно, еще до меня...

– Да, знаю, но не от нее, а так... это ведь не секрет. Думаю, мама посчитала: если он придет на похороны, значит, она ему была дорога в свое время, пусть и было у них все очень-очень давно, и тогда он достоин получить ее прощальное письмо. Ну а если нет, то – нет.

– Похоже на то... Тогда держи его у себя. А то теперь мне ой как хочется открыть и почитать. Боюсь, не выдержу и поддамся соблазну, – полушутя произнес он, глядя на злосчастный конверт.

– Хорошо, но я твердо знаю, что ты бы не стал этого делать.

– Э-э, сейчас я в себе не так уверен, если честно...

– Пап, сменим тему!

За ликером последовал кофе, и они еще не скоро покинули «Библ». Сменить тему – сменили, но письмо для Магнуса Кельда витало в голове Пола Флавия, отчего он, как бы ни старался вернуть спонтанность беседе, все же был скован, что, разумеется, не ускользнуло от внимательной дочери.

Распрощавшись у станции метро, Инес нырнула в подземелье, а отец свернул в переулок, ведущий к дому, где в свое время бегала «дочь Берта-Флавия».

Бурный рассказ Инес о беседе с отцом вмиг развеял последние капельки бьорновской досады от несостоявшегося ужина.

– Хорошо, что он передал тебе письмо, не открыв его дома; мало ли что там написано, – резюмировал он, а про себя подумал: «Интересно, что же там написано?»

Их мальчика все еще не было. Ай да Кайла!..

Остров

Вернувшись из командировки где-то в пятом часу утра, Икрам, к своему удивлению, застал Айгуль совсем бодрствующей. За приветственными объятиями и поцелуями они решили позавтракать, благо Икрам выспался в поезде, а Айгуль спать не хотелось, пусть и спала она мало.

Она пребывала в чрезвычайном возбуждении.

После приличествующих вступительных расспросов о командировке и его короткого рассказа, внимаемого ею вполуха, ибо мыслями витала, он это видел, где-то в облаках, Икрам призвал жену к ответу: что это за новость, что лишила ее сна? Умиленная проницательностью мужа, Айгуль, немного потянув момент (интриги ради) и поерзав от удовольствия на стуле, наконец выпалила, буквально вибрируя от волнения:

– Угадай, кого я увижу лично? – призывно добавив: – Давай, давай, и не мелочись на догадки!

– Ну-у, дай хоть направление! – взмолился Икрам, не особо жаждавший играть в угадки, но, видя воплощение энтузиазма напротив, понимал, что ему не отвертеться; да и не хотел лишать ее удовольствия.

– Так, подсказка: это по работе... и бери высоко!

– С Жанной Анара?.. С Кариной Наргиз?.. С Фатима... как же ее имя?.. – начал было гадать, перебирая в голове пришедших на ум влиятельных дам и общественных деятельниц, и, видя категоричное мотание головой, синонимичное «даже не близко», перешел на иностранных знаменитостей, что мелькают в новостных сводках в контексте ее работы: – С Талитой Элина?.. С Софиго?.. С Афросьевой? С... ах, фамилию забыл!..

Тщетные потуги Икрама заставили ее сжалиться:

– Мощная подсказка: это мужчина.

– Ух ты! – вырвалось у него, аж глаза полезли на лоб.

Призадумался, копаясь в памяти; самому стало интересно. Наконец произнес:

– С Габриэлем Эужень? Нет? М-м... с Романом Настасья?..

– Да нет, это же всё политики-марионетки, не больше! Бери выше! – тут она взвила руки вверх, указывая на эдакое величие человека, еще больше затруднив ему задачу, о чем красноречиво говорило выражение его лица, излучавшее полную – полнейшую – растерянность.

– Все, сдаюсь! – капитулировал он.

– Он лауреат Анабельской премии, – раздельно отчеканила она, ожидая мгновенного ответа.

– А-а... как же его там?.. Мать родная!.. Сейчас, сейчас...

Имя вертелось в голове, но он никак не мог вспомнить, чем порядком расстроил Айгуль. Она была разочарована, эффект смазан: вместо ответа, восторга и дальнейшего совместного смакования новости ей приходится наблюдать это лицо, сияющее (аж лоб весь в складках от потуг) вспомнить имя и фамилию такого человека!

– Магнус Кельда, – приунывшим голосом произнесла она, снисходительно улыбнувшись.

– Да, точно! А я думал, то ли Маркус, то ли Макс, – оправдывался он.

Тут-то вспомнилось ему, что читал где-то о нем, мол, единственный представитель мужского пола за последние лет пятьдесят, удостоившийся той премии, ученый, ратующий за гендерное равноправие. И что-то еще о нем было в тех новостных сводках, что-то из далекого прошлого, нечто крайне интригующее, но Икрам все никак не мог вспомнить.

– Ничего себе! – удивленно мотал он головой, пытаясь реабилитироваться. – Я очень рад за тебя! Круто!.. Он что, будет вашим советником по вопросам гендерного равноправия?

– Ну вроде того... Европарламент организывает целый ряд мероприятий: конференции, круглые столы, встречи для представительниц законодательных органов азиатских стран, на которых будут многие видные персоны. На одном круглом столе с нами заявлен Кельда в качестве приглашенного гостя, и сказали, что он подтвердил свое участие.

– Мм, что-то еще у меня в голове вертится про него... читал давно, но никак не могу вспомнить, что-то громкое, интересное было, когда он был молод...

– Остров?

– О да, точно! Остров! – аж на месте подпрыгнул. – Вот это да-а!.. – с искренним удивлением вырвалось у Икрама, отчего Айгуль снова засияла. – Да у тебя, любовь моя, будет встреча с Историей, можно сказать! Ох как я рад за тебя!

– И это еще не все! Ассистент фон Армгард...

– Чей-чей ассистент?

– Симоны фон Армгард, она депутатка Европарламента, руководит там целым направлением, в том числе курирует проекты по гендерным вопросам. Нехилая тетка, очень-очень влиятельная, короче, величина в политике. Так вот, ее ассистент сообщил мне, что господин Кельда изначально был приглашен выступить на главной конференции, давали ему на выбор любой формат выступления, лишь бы заманить его, а он от всего отказался, изъявив желание участвовать только в одной рабочей сессии в формате круглого стола, и... выбрал нашу сессию! От всех других отказался, только с нами, представляешь!

– Ты у меня прямо звезда! Ух, горжусь тобой! – засиял Икрам, крепко обняв супругу.

Он действительно восхищался ею, причем не только в подобные моменты, но и в повседневной жизни. «Неужели это моя жена?» – нередко мысленно вопрошал он. Его не покидало ощущение, давно пустившее в нем глубокие корни, что ему очень повезло с ней, даже как-то слишком; ему частенько хотелось буквально дотронуться до нее, чтобы убедиться, что она здесь, что она с ним. Он, собственно, так и делал, маскируя подобные «проверки» под обычные объятия и поцелуи. И это не проходило с годами. Ощущение, разумеется, приятное, но вместе с тем тревожное. Как бы он ни был – с ее слов – «интересен, порядочен и с хорошим чувством юмора», он чувствовал, что он ей не пара. Он знал себе цену, но на людях рядом с ней ощущал себя блеклым, «не по размеру»; ему казалось, что он являл собой тот самый случай, когда при виде незнакомой пары на вечеринке первое, что приходит на ум: что она в нем нашла? Подобные взгляды на себе мерещились ему повсюду, особенно при знакомствах. Так, после исполненного энтузиазма первого контакта с Айгуль, очарованные ее речью, выдающей недюжинный ум, открытостью, говорившей о самоуверенности, и, наконец, привлекательной внешностью незнакомцы, переводя внимание на Икрама, пожимая ему руку, силились на месте расшифровать спутника столь блистательной женщины, чтобы успокоиться и сказать себе: «Ах вот оно что!» Не всегда ему удавалось «успокоить» их. Ему регулярно снились сны, где у него была другая, и там, глядя на нее, он недоумевал, почти протестовал, повторяя: «Нет, нет, у меня ведь другая, другая – лучше, красивее, умнее!» Проснувшись и видя рядом спящую Айгуль, он облегченно вздыхал, крепко обнимал ее, повторяя про себя: «Вот она, вот она»; если этим он еще и нечаянно будил ее, отчего Айгуль в полудреме ворчала, жалуясь на пробуждение, то было верхом его утешения. Это давало осязаемое ощущение обладания ею, ведь в его руках ее сон! Это чувство было в разы слаще и сильнее, чем их занятия любовью. С последним у них все было, кажется, в порядке, но секс – недолгая услада тел, а он хотел большего, неизмеримо большего: он хотел заключить в объятия ее душу, ее мысли. Их дети дарили ему некоторое успокоение: даже если она уйдет от него, благодаря им она все равно будет присутствовать в его жизни.

– Фон Армгард – мощная фамилия! Звучит... м-м... монументально. Дворянского происхождения, что ли? – поинтересовался Икрам.

– Да вроде нет, – не сразу ответила Айгуль, задумавшись.

О депутатке она знала немало ввиду своей работы, но все, что знала, касалось сугубо трудовой деятельности этой дамы.

– Нет, она вроде из простых, – продолжила она, – даже из очень простых. Помню, читала где-то, что ее первым значимым проектом, который и принес ей признание на политическом поприще, был вопрос урбанистики, связанный с кварталами гетто. Да, да, она сама, кажется, из гетто... Хотя согласна, фамилия самая что ни на есть дворянская... Хм, интересно...

– И когда ты едешь? В Женеву ведь?

– Да, в марте, с двадцатого по двадцать пятое.

– Кстати, у нас что, Малика ночует? Ее обувь, кажется, в прихожей стоит.

Айгуль кивнула в ответ.

– Они с Айкой весь вечер готовили презентацию по «Основам психологии», пришла с ночевкой, допоздна сидели.

– Больше хихикали, наверное, чем готовились.

– Ну не без этого, конечно, в их-то возрасте.

– До психоанализа Изадоры дойдут, – прыснул Икрам, – вот потешатся!.. А утренник пацана как прошел?

На слове «утренник» Айгуль напряглась, хмурые тучи разом сгустились на ее лице.

– Прошел хорошо, даже очень, оттого это было... ужасно! Вчерашний день официально номинирован на звание «Мой самый грустный день года», и боюсь, что он выиграет в этой номинации за явным преимуществом.

Лицо Икрама вытянулось в один большой вопросительный знак с нотками недоумения, красноречиво требуя пояснений, но едва Айгуль открыла рот, как дверь кухни, скрипнув, открылась и сонный мальчик с визгом бросился в объятия своего отца. Знаками Айгуль дала понять мужу, что расскажет позже.

Не мать, не дочь

Мягкие увядающие руки с почти прозрачной, обвислой в глубоких складках кожей, из-под которой отчетливо выступали крупные вены, бороздившие верхние конечности, словно наросты, выдавая почтенные лета их обладательницы, медленно положили на книжный столик небольшую папку с бумагами. На краешке одного листа, невзначай выбившегося из папки, можно было прочесть азиатскую фамилию на французском языке.

Другая рука – моложе и тверже – тут же потянулась к столику и аккуратно вернула взбунтовавшийся листок в лоно папки.

Старая рука взяла со стола чашку сильно разбавленного кофе, но, поднеся ее ко рту и замерев на мгновение в таком положении, вернула напиток на место, так и не испив ни глотка. Следом медленно поднялась с кресла и неторопливо подошла к окну, выходящему на пляж и океан, воды которого в этот день были на удивление спокойны. Ее размеренные неспешные движения были вызваны не почтенным возрастом, но думами, в которые хозяйка старой руки была всецело погружена.

На берегу бегала собака. Ее собака...

Человеку стороннему все в этой комнате показалось бы крайне странным, а то и вовсе сюрреалистичным. Но речь идет не о самой комнате, разумеется, а о двух женщинах, в ней находящихся, невозмутимо беседующих на темы отнюдь не невозмутимые. Все вокруг, включая двух особ, было в полном диссонансе с природой их беседы, все положительно не соответствовало всему: обстановка не соответствовала теме, тема не соответствовала внешнему виду женщин, их внешний вид контрастировал с тоном их голоса, тональность голоса не соответствовала содержанию сказанного, а содержание разговора уж никак не вязалось с их одеждой, которую и вовсе не должны носить люди, читающие документы, лежащие в папке на журнальном столике рядом с чашкой сваренного кофе, и, наконец, сами эти женщины никак не были похожи на людей, которые могли оказаться вместе в одной комнате (разве что совершенно случайно), не говоря уже о том, чтобы видеться регулярно (пусть и нечасто) и вести беседы на столь непонятные такому постороннему человеку темы. И все же здесь не было никакой ошибки, ни самой малой толики случайности.

Женщины были связаны друг с другом, причем узами более прочными, нежели самые добрые родственные отношения. Их общение не было их выбором. И если это применимо и к родственным отношениям, судя по житейской фразе «родственников не выбирают», то общаться или не общаться с родственниками все же в руках человека, тогда как у этих двух женщин и этой привилегии не было. Без всякого преувеличения, они были обречены видеть друг друга.

Эта гостиная, столь милая ее хозяйке, в которой та любила проводить свободное время, в основном погрузившись в чтение книг, в которых не было недостатка в этом доме, на пару часов пребывания молодой женщины, внешне довольно привлекательной, часто ловившей на себе восторженные взгляды мужчин, превращалась в нечто несуразное, нечто чуждое, совсем не милое помещение. Вот что творило одно лишь присутствие этой женщины в доме! Оттого старушка и отпускала на улицу свою собаку всякий раз, когда ожидала визита этой особы; да и пес был рад покинуть дом, не особо жалуя гостью, безошибочно чужая напряжение меж дамами. Благо, что такие визиты были нечасты.

И для молодой женщины это отнюдь не было приятным времяпрепровождением, но ее отношение и восприятие таких встреч были совершенно иными. Эти аудиенции составляли один из главных помостов ее трудовой деятельности. Нет, то не было работой, но по той лишь причине, что слово «работа» и близко не отражало всю сущность и глубину ее вовлеченности – физической и эмоциональной – в вedomую деятельность, которой она посвятила всю себя без

остатка, самозабвенно отдавшись «благому делу». Для нее эти часы были моментами максимальной концентрации внимания, полной собранности, где она пускала в ход все свои знания и навыки, имеющиеся в арсенале, коих без преувеличения было немало.

Равномерное постукивание настенных часов гостинкой гулко отдавалось на фоне образовавшейся паузы, которая, впрочем, обеим женщинам никак не мешала. Паузы были неотъемлемой частью их бесед, и частью немаловажной: паузы порой заключали в себе больше информации, нежели самые емкие слова.

– Медина, Ульяна, Малати и Альба – за продолжение пассивного мониторинга, «учитывая отсутствие острой необходимости». Гензебе, Кумико и Чечилия – за начало активной фазы, – прозвучал женский голос из глубины комнаты. Сказано это было бесстрастным ровным тоном, лишенным всякой эмоциональной начинки и не позволявшим определить позицию самой говорящей относительно обсуждаемого вопроса, если у той и была какая-либо точка зрения; слова несли лишь информацию.

– Вы повторяетесь, – не сразу ответила хозяйка собаки, не оборачиваясь.

– Прошу прощения... Матушка, – и эти слова были лишены всякой тональности.

Развернувшись лицом к собеседнице, хозяйка дома продолжила:

– Я не увидела мнения Юшенг.

– Мнение госпожи Юшенг я озвучу вам устно, вне протокола. На этом настояла она сама. – И, увидев призывный кивок, выражавший готовность слушать, продолжила: – Пусть Казахстан и не проявляет активности в известном вопросе, она считает, что будет значительным упущением оставить страну без физического присутствия в условиях...

– В условиях соседства с ее «полыхающей страной», да? – перебила старушка. – Слышали уже... можно было и написать, ничего таинственного тут нет.

– Я не договорила... – не сразу, с расстановкой возразила молодая собеседница, довольная сильным промахом хозяйки, отчего подобие ухмылки запорхало в уголках ее глаз. За всю встречу то был ее первый невербальный импульс с мелькнувшей тенью эмоций, на которые она была намеренно скупа. «Теряет хватку!» – триумфально гремело в ее голове. Внутренний резонанс от этой мысли был столь велик, что она аж невольно заерзала в кресле, пусть и едва заметно. «Молчать... молчать...» – мысленно скомандовала она себе, намеренно выдерживая паузу, чтобы усилить эффект от просчета, ожидая, пока Матушка сама не попросит продолжить.

– Внимательно слушаю.

– Будет значительным упущением оставить ее без физического присутствия в условиях обнаруженных значительных запасов урановой руды в стране. – И снова пауза.

Легкий наклон головы Матушки свидетельствовал, что она вся внимание. Вторая продолжила:

– Это очень свежая и закрытая информация. Профильное министерство только на прошлой неделе доложило по данному вопросу правительству страны. Никаких официальных заявлений и коммуникаций на этот счет пока не сделано. На фоне рассматриваемых правительством страны инициатив по гендерной корректировке в политической сфере, о которых говорится в досье, ситуация, по мнению госпожи Юшенг, приобретает оттенок, заслуживающий самого пристального внимания.

Она была довольна произведенным эффектом, внешне, однако, никак не выдавая оное. Теперь гневалась на себя за то, что мгновением ранее дала слабину и позволила эмоциям обнаружить себя, пусть и ненадолго. Вернув свой *modus operandi*, наказала себе впредь четче «держаться линии» и не поддаваться импульсам. Пока Матушка переваривала информацию, она мысленно разобрала всплывшую гипотезу: а не намеренно ли Матушка оступилась, чтобы вывести ее из равновесия? Скрупулезно проанализировав «промах» Матушки со всех сторон, в том числе невербальную составляющую коммуникации, в оценке которой была сильна, пришла

к выводу, что это не было трюком. Невольно вспомнились слова наставницы, твердившей им скрывать эмоции в присутствии Матерей: «Ваши эмоции – это козырь им в руки, которым они непременно воспользуются, если им будет нужно... О-о, они это умеют!»

– Прогнозные или подтвержденные запасы? – поинтересовалась «умеющая».

– Прогнозные. Но их министерству уже поручено провести дальнейшую детальную разведку для подтверждения и оценки запасов. По информации госпожи Юшенг, даже если прогнозные показатели будут подтверждены не в полном объеме, речь все равно идет о внушительных... колоссальных цифрах. С ее слов, Казахия метит в тройку по запасам в мире.

– Хм, интересно, – молвила хозяйка, вернувшись в кресло и задумавшись.

– Это еще не все, – после некоторой паузы сказала гостья и, медленно испив воды из стакана, продолжила: – Кроме того, она встревожена из-за госпожи Лан, которая, как ей кажется, демонстрирует признаки отступничества, что ослабит присутствие в регионе в целом. Это еще один довод, по ее мнению, в пользу активного решения вопроса.

– Это очень, очень сильное заявление... – тут же молвила хозяйка, в упор глядя на свою гостью, добавив следом: – Ей *кажется*, что Лан отступает?

– Но мы ведь все *знаем*, – с расстановкой произнесла гостья, – что, если госпоже Юшенг что-то «кажется», или «мерещится», или даже «приснилось», значит, так оно и есть, ибо Мама тысячу раз проверит и перепроверит, прежде чем сказать свое знаменитое «кажется».

«Она права, Юшенг словами не бросается... Ох, совсем я никудышная стала!» – расстроено подумала хозяйка дома.

«Совсем сдала», – в унисон подумала вторая.

– Отступить невозможно, – мерно прошептала хозяйка, вдумчиво уставившись в одну точку; слова прозвучали больше заклинанием, нежели репликой в адрес собеседницы.

– Возможно, – последовал ответ гостьи, многозначительный взгляд которой договорил начатое.

– Я не разделяю вашей гипотезы, – вдруг устало произнесла Матушка. Она почти размякла в кресле, словно последние слова высосали из нее остатки сил; так же внезапно одряхлел ее взор. Молодая женщина всеми фибрами души силилась считать столь резкую перемену душевного состояния собеседницы, ничем себя, разумеется, не обнаруживая.

После недолгого молчания гостья продолжила:

– Скоро у нас будет возможность еще раз вблизи прощупать кандидтку на одном межправительственном мероприятии. Разумеется, ни о каких прямых контактах речь пока не идет. Это так, последние аккорды в формировании ее личного досье... На случай, если Совет решит-таки пойти дальше.

Хозяйка рассеянно кивнула, давая понять, что подготовительный аспект вопроса ее мало волнует; уж больно Дочери хороши и щепетильны в подобных вещах, чтобы беспокоиться по этому поводу. К слову, человека непосвященного фраза «формирование личного досье» натолкнет на мысль о сугубо бумажной работе по сбору информации, в беседе же этих дам под этими словами подразумевалась скрупулезная работа по *формированию* (в самом буквальном смысле этого слова) нужной карьерной траектории женщины, попавшей в их поле зрения. И формировалась она, разумеется, без всякого ведома субъекта и самым что ни на есть «ручным» способом: создавались благоприятные карьерные возможности, ускорялось продвижение по службе, устранялись различные препятствия и помехи, причем не только профессионального, но и личного характера, если последние грозили затруднить или замедлить продвижение кандидатки в заданном направлении. Все проворачивалось столь тонко и умело, что женщина ни сном ни духом не ведала о стороннем вмешательстве; все было в ее жизни: житейские передраги, проблемы на работе, семейные неурядицы и жизненные потрясения, но карьера неуклонно ползла и ползла вверх. К тому же внимания Дочерей достаивались не абы какие женщины: прежде чем стать «кандидаткой», те подвергались дотошной всесторонней проверке

на соответствие всем необходимым критериям и наличие высокого «личностного потенциала», включавшего в себя харизму, лидерские качества, хладнокровие и способность держать язык за зубами.

– И последнее: если вы не возражаете, предстоящее заседание Совета в этот раз предложено провести в периметре госпожи Чечилии, а не госпожи Кумико, ввиду известных обстоятельств.

Матушка рассеянно уставилась на гостью.

– О каких обстоятельствах идет речь?

– По состоянию здоровья, а лучше сказать, возраста. В последнее время госпожа Чечилия испытывает крайние сложности при перелетах. Остальные члены Совета не возражают.

– Не возражаю... да и как я могу возражать, если в скором времени сама буду вынуждена пользоваться подобными привилегиями, которые, надеюсь, мне будут оказаны.

Гостья и бровью не повела, умышленно оставив реплику хозяйки без комментария, не поддаваясь на закинутую житейскую удочку.

Минутой позже хозяйка взяла папку со стола и, неспешно подойдя к камину, где слабо тлел огонь, аккуратно уложила в него бумаги, наблюдая, как пробудившиеся языки пламени заключили их в свои поначалу робкие, потом жаркие объятия. Дождавшись, когда все обратилось в пепел, она развернулась и решительным голосом изрекла:

– Сообщите всю информацию, озвученную Юшенг, остальным... за исключением того, что касается Лан. Последней я, пожалуй, нанесу личный визит, чтобы понять ситуацию и градус проблемы.

– Принято, но в данном случае я сделаю «слепую» запись во внутреннем протоколе. От вас будут ждать комментария по необозначенному вопросу... А если его не последует, я буду вынуждена озвучить проблему как есть.

– Делайте то, что вы должны делать, – последовал спокойный, но твердый ответ. – Спасибо за ваш визит. Не стану больше вас задерживать.

Гостья поднялась с кресла.

– До свидания, Матушка.

– Хорошего вам дня.

«Ух, воистину железная дамочка!» – подумала хозяйка, услышав звук удалявшейся машины.

Она была рада избавиться от нее так скоро. Встречи с «железной дамочкой» ее в последнее время тяготили. Матушке вдруг сильно захотелось отвлечься, развеяться, и накинув на плечи легкую куртку и взяв вязаную шапку, она вышла со стороны веранды на пляж, и медленно, утопая в песке под тяжестью прожитых лет, направилась к берегу, где легкий морской бриз и стрелой мчавшаяся к ней собака вмиг унесли ее вдаль от обременительных мыслей.

Сны из пластилина

Икрам долго не мог заснуть. Он беспокойно ворочался в кровати, всякие мысли лезли в голову, мешая забыться в объятиях сна, но дрема, пусть и с сильным опозданием, все же накрыла его. Такой отход ко сну не обещал ничего хорошего...

Он недоумевал: почему ему тревожно, когда вокруг такое веселье? Отчего-то больно ныло в груди. Ему не хватало воздуха, но он все протискивался и протискивался через гудящую толпу, получалось это смертельно медленно. И лиц, их лиц он почему-то не видел, да и не хотел видеть. Под ногами что-то хрустнуло: нога, похоже, зацепилась за некий предмет, отчего стало сложнее идти, но он не обращал на это внимание. Не хотел смотреть вниз. И ликование вокруг, ликование! Почти восторг! «Ай-ай-ай, вы наступили, вы ведь наступили, как нехорошо...» – послышалось сзади едкое бормотание, но он не оборачивался. Нужно обязательно увидеть, отчего такой публичный экстаз, обязательно! С трудом выбравшись в первые ряды, он увидел помост, не сильно возвышавшийся над землей, куда по лестницам поднимались маленькие люди. Да, да, именно маленькие люди, не дети, а взрослые, но почему-то детского роста. И все им хлопали и улюлюкали. А что это за люд вокруг? Их лиц не было видно, но они были счастливы, он это знал. Ликование было абсолютным, ликование было искренним. И на помосте был некто, которого не было видно снизу, ибо маленькие люди, один за одним подходившие к нему, невольно закрывали собой его лицо. Этот некто снимал их треугольные шляпы, и целовал их в лоб, и говорил им что-то: добрые слова говорил, непременно добрые, поскольку стоящие рядом одобрительно кивали и кивали; словом, всеобщее умиление царило вокруг. И Икрама поглотило это действие, его вдруг охватила эйфория, он тоже торжествовал вместе с ними... И все было ладно, все было чудно! Но сзади кто-то дергал и дергал его за рукав пиджака, мешая наслаждаться зрелищем; Икрам пробовал было отделаться, не глядя отмахиваясь, но без толку, теребят да теребят... Он наконец раздраженно оглянулся, но никого не увидел, потом догадался: опустил взор и увидел «маленького взрослого» подле себя. То был его сын. Он выглядел совсем по-другому, совсем! Но Икрам знал, что перед ним его сын. Сын с тревогой повторял что-то, словно заведенный, теребя рукав отца, но что именно, Икрам никак не мог разобрать из-за стоящего вокруг гвалта. Вдруг он понял слова сына – не услышал, но понял: «Где моя шляпа? Где она? Где?» Он не знал, что ответить, лишь промямлил: «Не знаю, я не знаю», – и оттого ему было жаль своего мальчика. А бедняжка все дергал и дергал его за руку, все спрашивал и спрашивал, пока наконец не пришла его очередь подниматься к некто. Сын вдруг сник, замолчал и, развернувшись, направился к помосту. Икрам наблюдал за ним, как вдруг снова сзади послышалось липкое бормотание: «Ай-ай-ай, вы наступили, вы ведь наступили, как нехорошо». Его вдруг осенило: он тут же глянул вниз – что же это болтается у него в ногах? – и увидел треугольную шляпу, шляпу сына, затоптанную им. «Ай-ай-ай, – продолжалось неотвязное бормотание, – как нехорошо». Он поднял шляпу и дернулся было в сторону помоста, чтобы отдать ее сыну, как что-то вдруг оглушило его, и он замер как вкопанный... Тишина! Его оглушила полная тишина. Вдруг стало тихо: ни звука, ни хлопаний, ни ликований. Он обернулся на толпу и наконец-то разглядел их лица – все были на одно лицо! Он не видел явственно их очертаний, но видел, знал, что у всех одно лицо. Стало жутко, жутко-жутко; и тут его осенило: «*Тот* не должен поцеловать его сына ни в коем случае! Поцелуй – каторга!» Он хочет повернуться к помосту, чтобы крикнуть, помешать, но ни повернуться, ни издать звука не получается, а сзади тот уже заключает голову сына в свои «пустые» руки (пустые – он это знает), чтобы поцеловать... «Ай-ай-ай, нехорошо...» Голову его трясет, а тело ломит, как при долгом падении... «Икрам, Икрам!» – спасительно врывается знакомый голос, он со стоном просыпается и видит лицо жены в обрамлении лучей, точно ангел света, испепеляющий мрак подземелья.

– Кошмар? – глядя в сонные глаза и поглаживая щеку, вполголоса спрашивает она. – Ты стонал, причем громко...

– Ой, да, дурной сон... – выдохнул он, щуря глаза от света включенной прикроватной лампы. – Разбудил, да? Извини...

– Нет, ничего. Бедненький... не засыпай сразу, иди воды попей, развейся, потом ложись.

– Да, так и сделаю... И в туалет охота.

Сходя в туалет и на ощупь налив себе стакан воды на кухне (не стал включать свет), он замер, лихорадочно прокручивая в голове увиденный сон. Обычно он так делал только с приятными и занимательными снами, гоня прочь плохие; пусть сновидение и не было откровенным кошмаром, но царившая в нем угнетающая атмосфера вкупе с удушливой безысходностью относил его к разряду «гонимых прочь». И тем не менее сновидение манило Икрама пролистать его в памяти, было в нем что-то... разоблачающее, поэтому он прокручивал увиденное вновь и вновь, пытаясь заключить в капкане памяти тающие фрагменты сна, прежде чем они бесследно испарятся. Со снами никогда не знаешь, запомнятся ли они или рассеются безвозвратно, как будто они сами выбирают свою участь. Так, некоторые сны Икрам помнил с глубокой юности и даже с детства, они остались с ним вопреки его попыткам предать их забвению, а тех ярких сказочных сновидений, что он желал запомнить в свое время, и след простыл. С этим же несладким сном он почему-то не хотел расставаться.

За медленными глотками и разбором сновидения ему невольно вспомнился рассказ жены об утреннике сына. «Почему вдруг это пришло в голову?» – задумался он.

Возвращаясь в постель, Икрам обнаружил себя в комнате сына; не то чтобы не помнил, как сюда зашел, просто, направляясь в спальню, неожиданно прошел мимо, как если бы его понесло к мальчику. Укрыв ребенка спадавшим одеялом, вернулся в кровать. Засыпая, поймал себя на мысли, что был бы не прочь увидеть тот сон еще раз...

Ах, какая красивая женщина! Темные гладкие волосы, ниспадающие ниже плеч, делового покроя юбка, но больно короткая, обнажающая манящие ноги в черных колготках, и легкое короткое пальтишко – или это плащ? И сидит так складно, смиренно, и смотрит на него вполборота: взгляд мирный, без тени надменности. А он подле нее, в машине. Машина тронулась. Он должен ей что-то сказать, должен, он это знает. Она ждет. Он наконец что-то мямлит: не слышит себя, но знает, что говорит ей что-то, нечто крайне неубедительное, судя по ее реакции, точнее, по отсутствию оной. Ни один мускул не дрогнул на прелестном лице, ничто не выдает интереса к тому, что он вещает. А машина едет, и он знает, что ему нужно что-то до того, как она доставит их на место, и еще знает: машина едет – хорошо, остановится – что-то случится... с ней. А она ему нравится, ой как нравится! Вдруг она взором просит его заткнуться, он умолкает и... впивается в нее губами, сильно, страстно. Его язык буровит ее рот, жажда заполнить всю полость, выпить все соки до дна, а она пассивна: не сопротивляется, но и не отвечает. Приятный, мучительный зуд в паху нарастает стремительно. Оторвавшись от нее, он опускает взор вниз, на себя, и видит, что склонился над ней совсем голый (куда пропала одежда?), а его член – твердый, как молот, – готов уж фонтанировать. «Ох нет, нет! Рано, рано!» Он тут же бросается на нее, хочет непременно кончить в нее... вот-вот извергнется вулкан... судорожно срывает с нее юбку (нижнего белья нет!) и устремляет свой пах в вожаделенную прорезь! «Успе-е-ел!» – ликует он, накрываемый ограмической тряской, и все бы хорошо, да тут как она зашепчет знакомым едким голоском: «Ай-ай-ай, как нехорошо, вы ведь...» – он взвизгивает, как ошпаренный, порывается соскочить с нее, да не выходит, обездвижен оргазмом, точно в капкане... И сладко, и мучительно, и уж немогогу совсем, как вдруг отчетливо слышится: «И „да“ и „нет“ вам некто скажет, и путь он в лимб вам всем закажет!» Землетрясение... «Мокро, ой, мокро в паху, совсем мокро, ах, вот оно что: это сон!» Просыпаясь с угасающими сладостно-жгучими конвульсиями в паху, он чувствует, как трусы заливаются теплой спермой; мокро, тепло и сладко. Медленно приподнял одеяло в области паха, чтобы не заля-

пать его, подтянул ноги к телу и плавно – чтобы не разбудить Айгуль – развернулся лицом к стене, свернувшись в клубок.

Последняя замысловатая фраза из сна звенела в голове. «Водитель! Это сказал водитель!» – вдруг осенило его.

Раньше, проснувшись от подобных эротических снов, часто заканчивавшихся поллюцией, он следом мысленно смаковал похождения плоти во сне. Он любил такие сны безмерно. В особенности из-за того, что во сне – он давно это подметил – ни одна женщина не отказывает! Ни одна не сопротивляется! Ни одна! Он может овладеть любой! Однажды он даже занимался сексом с родной матерью, и во сне это было вполне нормально; проснувшись тогда, малость пристыженный бодрствующим сознанием, он пытался прогнать сновидение, забыть, как если бы оно ему не снилось, а вышло наоборот: запомнил крепко. Бывали и поистине волшебные моменты, когда там, во сне, он знал, что это сон, и тогда – помня, что во сне все дозволено, – бросался на первую же встречную, просыпаясь с заляпанными трусами; но такое, к сожалению, бывало редко. В этот же раз думал не о сексе с той красоткой, а о словах, прозвучавших точно заклинание: «И „да“ и „нет“ вам некто скажет, и путь он в лимб вам всем закажет!»

Лишь коснувшись спиной спины жены, заметил, что невольно придвинулся к ней, чтобы чувствовать себя спокойней. «Мать родная! Вот это ночка!» Он так и пролежал до утра, не сомкнув глаз, снедаемый тревожными мыслями, и лишь с ранней зарей немного полегчало.

Полегчать – полегчало, да не отпустило. Целый день пролетел за мыслями об этих снах; за обедом ли, в компании коллег или на рабочем заседании в комитете, где он выступал: он обедал, шутил, выступал и отвечал на каверзные вопросы руководства, но делал все это механически, мысленно пребывая в каком-то подвешенном состоянии, сродни вдумчивой отрешенности.

Вспомнилось ему и читанное однажды из психологии: теория одной известной ученой (имя которой уже не помнил), что сновидения – это столкновения грез со страхами, совокупление мечты с тревогами, не только явными, но и подсознательными, особенно подсознательными. Скрытые в потайных уголках сознания, незримые для бодрствующего ока, случайно ли там оказавшиеся или загнанные туда велением пристыженной совести, они терпеливо ждут своего часа, когда сознание будет безоружно – во власти сна, чтобы безнаказанно и громогласно заявить о своем существовании. Не говоря уже обо всем известной Изадоре, вся нашумевшая теория которой вилась исключительно вокруг эроса, и все в поведении человека объяснялось им же; и немалая доля ее работ была посвящена именно снам, причем снам сугубо эротическим. Что бы она сказала об Икраме, будь ей доступны его сны?

«...И путь он в лимб вам всем закажет!» – откуда ж это? Откуда? Эти слова казались Икраму слишком в рифму, слишком стихотворными, чтобы быть плодом сновидения. Видимо, раньше он их уже где-то слышал, и вот они всплыли во сне. Еще утром, за завтраком, он набрал фразу на планшете, чтобы глянуть, что же выдаст «всемогущий» интернет, но не нашел ничего путного (не так уж всемогущ, оказывается). У Айгуль не стал спрашивать: спроси ее, пришлось бы пересказывать весь сон, начиная с секса с красивой незнакомкой, а об этом не могло быть и речи; мог, конечно, и рассказать, переиначив сновидение, но юлить и привирать не захотел. На ее же беглый вопрос о ночном кошмаре соврал, что ничего не помнит.

«Может, действительно всего лишь фраза из сна, не больше? – размышлял он. – Такой впечатлительный я, оказывается! Так маховик воображения раскрутился, и из-за чего? Из-за рассказа жены?.. Причем какого рассказа: об утренике сына!»

Да, да, не зря мероприятие мальчика пришло ему на ум ночью, тогда он мигом связал его с первым сном, а второй сон – продолжение первого, ведь едкое «ай-ай-ай» именно оттуда.

И он возвращался в памяти к подробному повествованию супруги о своем «самом грустном дне в этом году»...

Накормив и спровадив сына в школу, умчавшегося заранее для финальной репетиции выступления на утреннике, Айгуль в порыве энтузиазма от полученной новости касательно конференции с участием Магнуса Кельда так увлеклась чтением одной из его научных статей, что сильно припозднилась с выходом из дома. Благо школа недалеко, лишь парк миновать; она же его пробегала, переживая, что если выход сына будет в самом начале, то, выйдя на сцену, «бедняжка» не обнаружит свою мать. Но все обошлось. Впопыхах ворвавшись в актовый зал, где все родители давно уж расселись, с облегчением смекнула, что успела и что юные исполнительницы сами сильно запаздывают с началом представления.

Одно выступление сменяло другое. То были незамысловатые мини-сценки, песни и стихотворения, посвященные мужчинам и отцам, воспевавшие и восхвалявшие мужские качества, которыми испокон веков тешили мужское самолюбие: среди них и мужественность, и физическая сила, и работоспособность, и прикладной склад ума вкупе с прямолинейностью, и, наконец, немногословность, говорившая якобы о твердости характера. Не обошли стороной и призвание мужчин: защищать и служить семейному очагу. И все складно, и все в рифму, но «чем дальше в лес», тем пасмурнее становилась мать Дамира, чем больше аплодисментов, тем сильнее ей хотелось на свежий воздух. Внешне, однако, ничто не выдавало в ней расстройств, владеть собой она умела; она и сама рукоплескала, чтобы не обнаружить себя и подбодрить сына, но ни капельки не наслаждалась представлением, а попросту... терпела. Годы работы в структурах министерства социального развития, включая недавнее погружение в гендерную тематику, настолько углубили ее знания и понимание социальных процессов, в том числе вопросов моделирования коллективного поведения, что школьный утренник по случаю Дня отцов предстал в ее глазах не чем иным, как откровенным муштрованием сознания детей, нацеленным, пусть и невольно, на прививание идеи о второстепенности мужского пола.

Одно стихотворение, выразительно продекламированное прелестной одноклассницей Дамира, буквально врезалось ей в память:

*И пусть отцы немногословны
В поту служения своем,
Сердец отважных быются сонмы,
И в дождь, и в снег, и ночью, днем.
Пусть сдержанны они, но с твердой волей
Все беды гонят прочь от нас,
И вот юнец – наследник доли,
Ждет не дождется свой он час.
И час придет: пробьют колокола
И верный путь укажет нежная рука!*

Ни разу прежде она не ходила на утренники сына, ходил Икрам. «Мать святая!» – в душе сокрушенно восклицала она, жаждающая поскорее убраться оттуда, забрав ребенка. Крепко досталось и Икраму, мысленно «обласканному» не одной парой бранных фраз за то, что, возвращаясь с подобных мероприятий, он не вдавался в подробности, отделяваясь стандартной репликой, что «все прошло очень хорошо» (ах, пресловутая мужская немногословность!). «Очень хорошо». Ну что же тут хорошего?

Разумеется, увиденное не стало откровением для Айгуль, не в коконе ведь жила; она прекрасно знала родной люд, его нравы, чаяния и помыслы, но первое личное соприкосновение со срежиссированным детским мероприятием, где главной темой был мужской пол, без преувеличения произвело на нее шокирующий эффект. Она даже украдкой наблюдала за другими родителями: неужели ей одной не по себе? Судя по лучезарным улыбкам и нескончаемым аплодисментам, увы, одной... Но она не винила родителей; в конце концов, за улыбками

и аплодисментами и пришли все сюда. Умиленные взрослые восхищались каждым словом, каждым жестом, каждой мимикой своих (да и чужих) детей. Она и сама, завидев сына, вся запрыгала внутри, готовая рукоплескать. Родительские чувства простительны. К тому же абсолютное большинство присутствовавших, Айгуль была уверена, не находило в услышанном ничего предосудительного, а некоторые и вовсе не особо вслушивались в содержание выступлений: доведенные до благоговейного умиления своими чадами, они только и ждали момента вознаградить детские старания аплодисментами и увидеть, как лица их отпрысков расплывутся в благодарной, застенчивой улыбке.

Но аплодисменты – это знак безусловного одобрения. В отличие от своих родителей, что пришли умиляться своими детками, юные исполнительницы за зубрежкой и репетициями прониклись праздничным материалом и как губка впитали сквозившую в нем канву межполовых взаимоотношений; и это уже посеяно в их неокрепших сознаниях, настезь распахнутых всему новому. Семя брошено; обильно политое нужной водой – аплодисментами и улыбками, оно уже принялось, готовое пойти в рост вместе со своим носителем. Девочки проглотили это. Мальчики проглотили это. Никто не поперхнулся. В их возрасте все поглощается в улет под слепящими лучами родительского одобрения.

Вконец расстроила Айгуль сценка с участием ее мальчика, которому досталась роль благородно-заботливого персонажа, показавшегося ей не благородно-заботливым, а угодливо-прислужливым. Ей стало нехорошо. Растянув на лице улыбку и рукоплеща, внутри она неистовствовала: «Да как они смеют?! Как они смеют лепить *моего* ребенка?!»

Первое, что тут же пришло ей в голову: поменять школу, немедленно! Ну а какая разница? Везде примерно то же самое, если не хуже; эта ведь одна из лучших школ города, тоскливо размышляла она, глядя на выступавших деток. «Вот она, юная поросль, едва-едва готовая сделать свои первые шаги в познании мира, но уже потеряна, уже отформатирована, уже... 3-з-за-агажена серыми жерновами коллективного сознания... А ведь им всего по восьми-девяти лет от роду!.. Ох, потерянное поколение... уже потерянное... очередное потерянное...»

В унисон с подобными мыслями ее уязвленное и не на шутку разыгравшееся воображение понесло хозяйку дальше: ей вдруг представилось, как детям вскрывают черепную коробку, настраивают базовые функции поведения и мышления (у мальчиков вдобавок делают пару замыканий), после чего бережно закрывают ее и запаивают, нежно поглаживая по головке. И все это делают любя, непременно любя!.. «Э-э, не-е-ет, своего ребенка я вам не отдам! Мой ребенок не будет очередным кирпичиком, очередным... здоровым инвалидом!»

Айгуль, точно вулкан, вся клокотала внутри; наконец негодование изверглось лавой сумбурно-хаотичного возмущения, почти протеста, мысленно адресованного присутствовавшей публике: «Что же вы делаете? Что же вы творите? Здесь и сейчас вы лишаете детей – своих детей! – *своего* будущего, другого будущего; в особенности мальчиков... Сами же обрекаете их на ограниченную жизнь, сами, на жизнь в периметре колючего забора, протянутого не где-нибудь, но в их головушках... Ах, что может быть хуже здоровых и физически свободных людей с несвободным сознанием?! И во имя чего? Во имя пресловутой общепринятой нормы поведения!.. Тыфу!.. „Так у всех, так должно быть, так было всегда“ – три кита, на которых зиждется шаблонизация умов. Мать честная! Какая же умиротворяющая фраза: „Так у всех, так должно быть, так было всегда“. Слова, обещающие защиту, порядок и покой... совершенный покой. Так и неймется заключить эти слова в свои объятия – и не отпускать, и повторять, и верить, слепо верить. А что за ними? Промотанные жизни, вот что! П-р-о-м-о-т-а-н-н-ы-е! Не прожитые. Судьбы, убаюканные тусклостью запрограммированной жизни, и мечты, оставшиеся мечтами, грезы, оставшиеся грезами. А ведь до них рукой было подать! Лишь сделать шаг!.. Увы. Так и стоят: здоровые люди, со здоровыми руками и ногами, обездвиженные, уносимые привычным ходом расписанной жизни... уносимые».

Вулкан вулканом, а глянeshь на нее – сущий айсберг. Владеть собой Айгуль умела.

После, когда родители, теснясь в классной комнате, собирали своих детей, наспех одевая и укладывая костюмы и прочий реквизит, чтобы поскорее броситься в объятия выходного дня, к Айгуль подошла Амина Гульсым – классная руководительница Дамира. Та, едва за приметив маму мальчика, в кои-то веки пришедшую в школу вместо отца, решила всенепременно перекинуться парой слов с редкой гостьей, тем более что знала: Айгуль Турсынай – не низкого полета птица. Айгуль же после испытанного в актовом зале вовсе не горела желанием вступать с ней в беседу, но вербального контакта было не избежать, ибо преподавательница пробивалась к ней сквозь кишашую людскую массу, как ледокол рассекает арктический лед, ни на миллиметр не сбиваясь с курса. За дежурными приветствиями последовала дежурная беседа, довольно короткая, так как Айгуль всем видом показывала, что ребенок уже одет и порывается выйти на улицу. На вопрос учительницы, понравилось ли ей представление, Айгуль буквально выдавила: «Организация на очень хорошем уровне... Все очень организовано». Во власти тягостных мыслей, порожденных увиденным, классная руководительница воспринималась не только соучастницей, но хуже – дирижеркой этого «организованного ужаса», поэтому Айгуль в беседе с ней была подчеркнута сдержанна и немногословна, даже холодна, что контрастировало с энтузиазмом и восторженными репликами остальными родителями. «Как бы не отразился мой „холодок“ на отношении Гульсым к Дамирчику!» – позже забеспокоилась она, но ненадолго.

Этот случай натолкнул ее на тревожную мысль, что школа, будучи учреждением образования, выступает не только храмом просвещения, коим в идеале призвана быть, но и местом коллективного муштрования юного поколения и, как ни парадоксально, заточения его разума; во всяком случае, в этой стране. Причем местом довольно эффективным, принимая во внимание и нежный возраст подопечных, и непререкаемый авторитет наставников, и, наконец, то продолжительное время, что ученики ежедневно проводят в его стенах. Хорошо, если учительницы ограничиваются рамками своего предмета, как и должно быть, но раз на раз не приходится: нет-нет да и поддастся кто-нибудь соблазну выйти за эти самые рамки и воспитывать детишек, а может, и узрит в этом крайнюю необходимость, и тогда – пиши пропало, ваши отпрыски во власти мировоззрения и личных убеждений горе-учительницы. А иллюзий насчет своих соотечественниц в гендерном вопросе Айгуль не питала. Взять ту же Амину Гульсым, о которой только и слышно: и сильная педагогиня, и учительницей года становилась, и к детям, говорят, подход умеет найти, а вышла за рамки своей науки – и на тебе: не День отцов, а День рабов во всей красе!..

Такие печальные думы бороздили бескрайние просторы сознания обеспокоенной матери Дамира, которыми она поделилась с мужем, пересказывая события своего «самого грустного дня в году».

Услышанное натолкнуло Икрама на долгие размышления после.

Регулярно посещая школьные мероприятия и собрания сына, он даже не обращал внимания на такие моменты; не то чтобы не придавал им должного значения – он попросту их не замечал. Все ему казалось складным и естественным. Будь он на том утреннике вместо Айгуль, стандартный отчет «все прошло очень хорошо» снова бы лежал перед женой, а сам он, пожалуй, от души наслаждался бы представлением. Теперь же, взглянув на ситуацию с айгульской колокольни, Икрам ужаснулся, сетуя на свою невнимательность и инертность в гендерном вопросе, тогда как тематической информации и материалов дома пруд пруди: полки и рабочий стол жены завалены ими. Да и домашние разговоры, когда она делилась новостями с работы, были сродни мини-лекциям по данной проблеме, а все без толку! Объяснялось сие просто: пусть Икрам и прилежно слушал жену, местами поддакивал, задавал вопросы и демонстрировал прочие признаки активной вовлеченности в беседу, но в душе воспринимал такие разговоры чем-то абстрактным, сродни философствованию на досуге за бокалом вина. Все в таких разговорах он находил правильным, справедливым и очень нужным обществу, однако пред-

ставлялось ему это чем-то бесконечно далеким и к повседневной жизни не имеющим никакого отношения. Для человека технической профессии и прикладного склада ума ему важно было «потрогать» предмет руками, «пощупать» его, чтобы поверить и принять, а работа жены точно воздух – «одна болтовня», поди ухвати! Но День отцов, на котором не было отца, все изменил для отца. На примере своего мальчика, которого можно и потрогать, и пощупать, и понюхать, «болтовня» жены перестала быть пустой болтовней и обрела для него самый что ни на есть прикладной характер. Такое последовательное механическое формирование сознания ребенка третьими лицами – будь то школа, улица или родня – вдруг предстало перед ним хорошо организованным *техническим* процессом, и его прикладной склад ума цепко ухватил это.

Со временем он стал чаще обращать внимание на то, *что* ему говорят, *как* говорят и *почему* говорят (особенно женщины), и как он реагирует на сказанное, и что при этом чувствует, пытаясь следом разобраться в причинах таких чувств. Подобная аналитическая активность, еще и с погружением в эмоциональные дебри, была Икраму в новинку; то, о чем с такой легкостью говорила Айгуль, ему давалось с трудом, как если бы сей навык атрофировался за долгим неиспользованием. В этом его разум походил на запылившуюся книгу, многие-многие годы пролежавшую на полке и ни разу не открытую, отчего пожелтевшие страницы поначалу перелистываются с трудом, характерно при этом похрустывая.

Копаясь в себе, он не находил себя особенно ущемленным или угнетенным в ипостаси мужчины. Все ему казалось вполне нормальным, даже естественным. «Я вроде на своем месте», – пожимал он плечами. Его работа была ему по душе: он занимался тем, к чему, казалось, у него были способности. Со слов родителей, склонность к техническим наукам заметили у него с ранних лет; так и пошло: технико-математический лицей, институт, работа. Общественно-гуманитарные и прочие науки его не интересовали. Какого-либо дикого желания или амбиций добиться чего-нибудь вне рамок своей профессии – завоевать или изменить мир! – он за собой не наблюдал. «Кому-то это интересно, кому-то – нет... Каждому свое», – размышлял он. Однако, подвергнув схожему анализу своих друзей, знакомых, коллег и родственников мужского пола, вспоминая своего отца, он отметил разительное сходство между всеми ними: никто из них не обладал таким «диким желанием и амбициями», всем им это было «не интересно». И подобно ему, они проделывают концептуально схожий жизненный путь. И наоборот: знакомым женского пола, судя по их разговорам, такие желания были ой как присущи. Хм?.. Первоначальная мысль «кому-то это интересно, кому-то – нет» приобрела далеко не стихийный оттенок, слепой случайностью уже не пахивало.

Пробудившееся любопытство – ключ к заветной кладовой: поворот ключа... щелчок... скрип двери – и... добро пожаловать в просторные чертоги памяти! Воспоминания, точно разбойники с большой дороги, отовсюду набросились на Икраму, лишь успевай отбиваться. Что только не вспомнилось! И все: слова, события, поступки – заиграло новыми красками, потому как глядел он на прошлое в совершенно новом ракурсе. Вспомнились, к примеру, слова бабушки, оброненные однажды маленькому Икрамчику, расстроенному очередным поражением в шашки от соседской девчонки: «Ну, не расстраивайся, ничего страшного... Когда-нибудь да выиграешь... Хотя у нее, конечно, преимущество: природа устроена так, чтобы был баланс во всем, без крайностей, поэтому, если мальчикам природой дарована физическая сила, то девочкам – сила умственная. Это закон природы... Это не значит, что мальчики – неумные, нет, просто девочки в этом изначально сильнее...» Ох, бабушка, бабушка, хотела утешить внука, а с утешением капельку яда в головку-то невольно прыснула. Воистину, благими намерениями вымощена дорога в ад. Ну да ладно, старушка утешала как умела... Но вот ведь что получается: повтори такое ребенку – мальчику или девочке – раз десять-двадцать, и тот факт, что после института продолжают грызть гранит науки в основном девушки, становясь исследовательницами, учеными и докторшами наук, а парни мигом сворачивают в приземленно-прикладные профессии, уже не покажется банальной случайностью.

Голова Икрама гудела, мозаика складывалась сама по себе, перевернув хозяина вверх тормашками, отчего вид на окружающий мир открывался иной; для бедняги это стало настоящим откровением. По-новому взглянул на работу жены и на груды ее рабочих бумаг, заполонивших дом, к которым раньше он и на пушечный выстрел не подходил. «Э-э, никакая это не болтовня, а самый что ни на есть настоящий инструментарий! – мысленно рассуждал он, внимательно перелистывая материалы. – Да-а... здесь тебе и отвертки, и бокорезы, и пассатижи, и электрокабели, и мультиметры, и кусачки, и стрипперы, и гаечные ключи – всё здесь!»

С прозрением пришла тоска и душевный зуд: ему стало бесконечно жаль своего мальчика; о себе даже не думал, обреченно махнув рукой: «Я?.. Тьфу! Я все... пролетел... поздно... Но Дамир! Дами-и-ир!» Тягостное ощущение, что над разумом ребенка совершается насилие, камнем сдавило грудную клетку, и горше было оттого, что мальчуган даже не ведал, что стал объектом насилия, а такую жертву особенно жаль... Но кто, кто насильник? Кто виноват? Ответ подскочил крайне резво: общество, безликое общество! Оно, оно, разумеется, оно! Прежний Икрам удовлетворился бы ответом, но нынешний Икрам лишь сердито огрызнулся и, засучив рукава, пустился копать глубже. С разбором «общества» на составляющие пред ним стали мелькать лица, знакомые лица: лицо Амины Гульсым, лица родителей Санжара и Макасата – закадычных дружков Дамира, в доме которых последний проводит немало времени и мало ли что там слышит, особенно от матери Санжара (та еще матриарша!), лица соседей и родственников, особенно тех, что в возрасте (уж больно словоохотливы), лица их с Айгуль друзей, что бывают у них в гостях, лица родителей Айгуль и своей собственной матери (отца уже не было в живых); ой-ой, круг неприятно сужался – вдруг всплыло лицо дочери и – ах! не может быть! – свое собственное лицо.

Да, да, свое лицо. «А как же иначе? – мысленно стегал себя. – А как ты хотел, отсидеться в сторонке? Э-э, не-ет, брат, не выйдет!» Его действия, поведение и, наконец, вся его жизнь – «живая речь» для сына, красноречивее любых слов! Мальчик все видит (пусть и не смотрит), все слышит (пусть и не слушает), все чувствует; и годы невольных наблюдений за родным человеком сделают свое дело прежде, чем он сформирует свое мнение на сей счет (свое ли?). Жизнь отца – фундамент для мировоззрения сына... Да и Айка, старшая сестра, с которой Дамир довольно близок, своим поведением и словами невольно «шлифует» сознание братика.

Каждый вносит свою лепту.

По незнанию ли или умышленно, осознанно ли или в силу привычки, любя, не любя или вовсе равнодушно – не важно, но каждый – каждый! – кладет кирпич, порой и мимоходом, в постройку «тюрьмы» для ребенка. И Дамирчик уже ходит вокруг этого строения, водит рукой по его стенам, свыкается с ним, а «строители» докладывают и докладывают кирпичи, единолично решая, где именно будут расположены окна, сколько их будет, куда они будут выходить – на север или на юг – и какого размера будут эти глазницы, сквозь которые обитателю надлежит лицезреть окружающий мир. Мальчик не выбирал эту обитель... Некоторые покидают такие жилища, большинство – нет.

Что до Айгуль, то в глазах Икрама она как-то не вписывалась в мозаику «доброжелателей», стоя особняком на этом фоне. Всегда внимательная к ребенку, свободная от предрассудков и социальных клише, она старалась поощрять сына в любых начинаниях и стремлениях, не ограничивая его узкими рамками «мальчиковского»; да и Икрама не раз просила поступать так же, на что прежний Икрам кивал, со всем неизменно соглашался, но был крайне невнимателен, когда доходило до дела.

Теперь же Икрам осознал всю глубину проблемы и что они с Айгуль попросту не в силах воспрепятствовать влиянию окружающих на своего ребенка, ведь в семье, где мальчик защищен и «свободен», он проводит все меньше и меньше времени, и все больше и больше в обществе, в нашем *нормальном* обществе... в обществе, пылко влюбленном в норму.

Немудрено, что на фоне подобных переживаний и размышлений бедолагу осаждали сны, изводившие его по ночам.

Оливковая ветвь

Молодой человек торопливо шел по просторному коридору, ширина которого раза в два превышала размер квартиры, в которой он проживал. Его шаги по мраморному полу, усиленные акустикой высоких потолков, гулко отдавались в воздухе, придавая, как ему казалось, значимость топоту его ног. Ему нравилось здесь слышать звук своих шагов. Немногие, пожалуй, обращали внимание на данную особенность этого здания, которую с первого же дня отметил он; оно и немудрено, ибо слух у молодого человека был отменный, самый что ни на есть музыкальный.

От всего в этом здании веяло властью, начиная с самого строения, поистине исполинских размеров, вплоть до каждой детали, будь то вешалки в гардеробе или дверные ручки кабинетов. Высоченные потолки, широкие коридоры, неброские отделочные материалы образцового качества и безупречный представительский дизайн интерьера придавали солидную, а лучше сказать – величественную атмосферу этому месту. Даже запахи здесь были иные: вроде ничего особенного, но в воздухе витала монументальность.

Похожий величественный ореол парил и на улице, на подступах к зданию. Каждое утро, когда Марко – именно так звали обладателя музыкального слуха – сворачивал с проспекта Пятого Ноября в сторону центрального входа в здание, он невольно вытягивался струной, демонстрируя безупречную осанку и собранность. А поворот – ах, этот поворот! – это простое движение в сторону парадных дверей, когда он отделялся от общего потока людей, возвышало его в своих же глазах; а если при этом он еще и ловил случайные взгляды прохожих, полные не то восхищения, не то зависти, тут уж Марко мнил себя вполне значимым человеком. Оно и неудивительно, ведь в этом здании определяли не то, как будут жить люди этого города, но как будут сосуществовать целые нации и государства.

Здесь не бегали. Даже если очень спешили, передвигались сугубо шагом, пусть быстрым, но шагом. На первых порах он, бывало, трусил по коридорам, но потом сообразил, что этого делать не нужно; никто ему и слова не обронил на этот счет, он просто понял, что любого рода спешка, копошение и суета не только принижают тебя лично, но и умаляют само учреждение, тогда как резвый шаг (о-о, совсем другое дело!) придает ауру решительности, внушая окружающим стремление человека бросаться в океан вопросов, требующих его участия, и ценность его времени. Бег же создает впечатление, что сотрудник не успевает, а значит, плохо управляет своим временем, а значит, здесь ему не место.

Он возвращался к себе в кабинет после доклада руководительнице о ходе подготовки к мероприятию. Вроде прошло нормально, заключил он, вздохнув с облегчением. Каждый поход к ней – словно экзамен; местами голос предавал его, лихорадочно вибрируя, руки, передавая или собирая документы со стола, нет-нет да подрагивали. Уже второй месяц, как он работает здесь, а волнение не проходило. Еще бы! Ведь не у директрисы какой-нибудь компании второй ассистент, а у самой Симоны фон Армгард!

Марко и не ведал о существовании «госпожи фон Армгард» до того, как устроился сюда, устроившись же, сразу постиг магнитуру персоны, на которую работал, и понял это не по занимаемой ею должности и регалиям, а эмпирически: стоило ему, совсем «сырому» и растерянному сотруднику, чье волнение было красками написано на лице-холсте, побуждая окружающих одаривать его снисходительными взглядами и вяло реагировать на его запросы, обронить, чей он помощник, и отношение менялось на глазах: размеренность тут же сменялась усердием, все мигом решалось, все предоставлялось, и все в здании (да и за его пределами) чуть ли не из кожи вон лезли, лишь бы удовлетворить запрос суетливого новичка. Имя делало свое дело. Это и пугало Марко, и радовало. Имя, смекнул он, могло оказать ему услугу в будущем. «Пусть и краткосрочный контракт, но достойный пункт в резюме! – повторял он себе. – Да

и всякое бывает, может, потом переведут в постоянный штат... Вон, тот же Юсуф начинал примерно так же, а теперь он – ее правая рука!»

Ему не терпелось в туалет, но он решил сначала передать Юсуфу поручение фон Армгард, а уж потом лететь в уборную (лететь, разумеется, шагом); впрочем, никакого осознанного решения он не принимал, так как поручения фон Армгард были по умолчанию в абсолютном приоритете и никакие позывы мочевого пузыря, какими бы неистовыми они ни были, не могли нарушить данную субординацию.

Госпожа фон Армгард сидела одна в своем просторном кабинете, но не за рабочим столом, а в зоне, предназначенной для гостей и мини-совещаний, расположившись в полюбившемся ей кресле из дерева, обитом добротной кожей. Она ждала гостей.

Кабинет ее был обставлен неброско, без изысков, но со вкусом. С настенных портретов на нее поглядывали выдающиеся общественные и государственные деятельницы прошлого, служившие ей примером и неиссякаемым источником вдохновения: Анна-Мари Клэр, Каролин Шейла-младшая, Амала Решми, Эрнестина Элоиза. Портрет последней висел на стене прямо напротив ее рабочего стола, поэтому каждый раз, когда фон Армгард поднимала глаза, она встречала взгляд этой без преувеличения блистательной женщины.

Выбор в пользу Эрнестины Элоизы был отнюдь не случаен.

Пусть три другие женщины ничем и не уступали Эрнестине в значимости на своем поприще, а то и вовсе превосходили, как в случае с Амалой Решми, о которой слыхали даже самые необразованные люди, причем в любой точке мира, фон Армгард не колебалась при выборе той, под чьим пристальным взглядом ей предстояло проводить свои трудовые будни.

Эрнестина Элоиза – одно лицо, но столько ликов: мать, бабушка, профессорша, известная философиня, чьи многочисленные труды затрагивали самые разные сферы жизнедеятельности человека, государственная и общественная деятельница и, наконец, дважды президентка Бразилии. Приняв бразды правления в самый сложный для страны период, когда экономика была в упадке, а страну раздирали затянувшийся политический кризис, за два президентских срока она смогла перезапустить все процессы и задать столь небывалую динамику развития во всех направлениях, что спустя всего два десятилетия страну уже ставили в пример, а в международной прессе нередко мелькало словосочетание «золотой век Бразилии».

Многим она особенно запала в душу после того, как в конце второго срока на посту президентки, вопреки беспрецедентной поддержке народа и инициативе парламента страны по внесению изменений в конституцию, которые позволили бы ей баллотироваться на новый, третий, срок, госпожа Элоиза наложила категоричное вето на законопроект и сложила свои полномочия, когда пришло время. Никакие доводы – почти уговоры – парламентариев о необходимости предлагаемых изменений для «продолжения взятого страной курса и реализуемой президенткой Элоизой политики», никакие (лестные) народные митинги в крупных городах страны, где десятки тысяч людей скандировали ее имя, держа в руках плакаты с призывом-мольбой: «Эрне, останься!» – не заставили Эрне (так любя звали ее бразильцы) изменить свое решение. Она объяснила причину своей непреклонности. Ее пламенная речь в парламенте в момент наложения вето облетела весь мир, разом став гимном демократической формы правления, а некоторые отрывки из нее оказались на страницах многих учебников по основам государства и права, причем далеко за пределами страны. И с напечатанных страниц ее слова: «... Подобно временам года, где лето сменяет осень, за которой следует зима, неизменно переходящая в весну, смена власти должна стать непреложным законом общества, без исключений! Любое удлинение лета или зимы, как бы мы ни жаждали этого, вредно природе. Так же и с властью... Самая смена власти и есть высшее благо!..» – дышат силой и пробирают сознание; можно лишь представить, что творилось в сердцах депутатов в тот день, когда гремела эта, как ее позже нарекли, «Апрельская Речь».

На закате своей жизни, оглядываясь на свой долгий и плодотворный трудовой путь, госпожа Элоиза признавалась, что уход с поста и наложенное вето она считает самым важным политическим актом, сделанным ею на посту президентки. «В тот вечер, – строки из опубликованной автобиографии, – когда я стояла на трибуне парламента с влажными от волнения ладонями и беснующимся желудком, я сделала, пожалуй, лучшее, что могла когда-либо сделать для своей страны. А после, запершись в парламентском туалете, я сидела и редела навзрыд: рыдала от осознания того, *что* я сделала, и что я *смогла*! А на доносившиеся с парламентской площади скандирования толпы: „Эрне, останься!“ бормотала в ответ: „Эрне вас не подвела!.. Эрне не оплошала!“ Уже тогда, в той тесной кабинке, я понимала, что все, что мне предстоит еще сделать в жизни для своей родины, по значимости вряд ли превзойдет тот необычайно холодный апрельский день».

Политические обозреватели всего мира были единодушны: мощнее сигнала мировому сообществу о том, что никто и ни под каким предлогом не должен присваивать власть, принадлежащую народу, не было послано ни одним политиком ни до, ни после Эрнестины. На фоне расплывшихся по миру глав государств, «приватизировавших» президентские кресла, руками сподвижниц окрестив себя «Лидершами нации» или «Матерями народа», поначалу действительно поддерживаемых народом, а то и десятилетиями, возмнивших себя незаменимыми, «теми самими», поступок президентки Элоизы вызывал неподдельное восхищение.

Под взглядом такой женщины невозможно не требовать от себя большего, думала фон Армгард, вешая портрет на стену.

Небольшие и аккуратные шкафы, заполненные самой разной литературой, от книг и печатных изданий, непосредственно связанных с родом ее деятельности, до научных и философских трудов и томиков художественной литературы, гармонично дополняли деловое убранство рабочего кабинета. Единственным, что немного выбивалось из всего этого монументального ансамбля, была фотография юной фон Армгард с церемонии вручения диплома Университета Офенизии – одного из престижнейших учебных заведений мира, и сам диплом... не простой диплом.

На дипломе сиял небольшой выгравированный символ в левом нижнем углу – позолоченная ветвь оливкового дерева. То был не просто знак отличия, но несравнимо лучше, недосыгаемо лучше – знак восхищения высшего профессорского совета университета, присуждаемый не за безупречные оценки на экзаменах, а за достижения сверх учебного процесса. Этот знак означал еще и то, что ее имя выбито на стене университета наряду с другими обладательницами подобного символа: она там четырнадцатая – четырнадцатая за триста сорок восемь лет существования учебного заведения! Причем тринадцатая гравировка на стене датируется двадцатью семью годами ранее.

Оливковая ветвь открывала – вернее, распахивала – все двери перед ее обладательницей, полностью освобождая от такой рутины, как составление резюме и поиски работы, только успевай отвечать на звонки и сообщения с заманчивыми предложениями от работодателей, сулящих блистательной выпускнице блистательную карьеру.

Оливковая ветвь сделала еще кое-что для фон Армгард, то, чего она совсем не ожидала: она невольно помирила Симону со своей фамилией, с которой у той были весьма натянутые отношения.

«Фон Армгард» преследовала Симону все ее детство и юность, нередко являясь причиной насмешек, колкостей, конфликтов и косых взглядов, а порой и полной изоляции. Немалого юная Симона натерпелась из-за нее. Если одноклассницы вспоминали о своей фамилии разве что на переключках в классе, то для Симоны «фон Армгард» было чем-то «живым», точно бремя на плечах, неизменно привлекающее недружелюбное внимание.

Обладательницам такой дворянской фамилии было отнюдь не место в том неблагополучном районе маленького города, куда семья фон Армгард переехала, когда Симоне едва стукнуло три года. А семья фон Армгард и вправду была самых что ни на есть дворянских кровей, с севера Фландрии, где одна из деревень даже носит имя прапрабабушки Симоны – Армгард, откуда, собственно, и тянется их род. Отнюдь не добрым стечением обстоятельств был вызван переезд такой семьи в чужую страну, в унылый городишко, в не лучший его район (своего рода гетто), что стал новым домом маленькой девочке. То было, несомненно, бегство: бегство из родных мест куда подальше, куда потише и подешевле, причиной чему послужило явно какое-то несчастье, почти несмываемый позор, запятнавший и разоривший семью, о котором юная Симона так ничего и не узнала, а повзрослев, не стала особо дознаваться. Родители упорно молчали, не проронив ни единого слова, и лишь по их тяжелым взглядам, когда любопытство подрастающей девочки толкало ее на расспросы о первом доме, она понимала, что случилось что-то страшное, мрачное, почти непереносимое; впрочем, она и не усердствовала в расспросах, поскольку той жизни и не помнила, разве что смутно всплывал «дом, где были утки в пруду». А гетто было ее домом в полном смысле этого слова, ведь другой жизни она и не знала. Вот только «фон Армгард» все жужжала и жужжала в округе, она-де нездешняя, привнося турбулентные моменты в ее почти нормальную жизнь.

А вот родители Симоны – совсем другое дело: они знали другую жизнь, совсем иную, оттого их интеграция в то, что стало новым домом, протекала болезненно. Но нужно отдать им должное: несмотря на недавнюю принадлежность к высшему классу и весьма безбедное существование, они стойко переносили все обрушившиеся на них лишения, адаптируясь под совершенно новый быт и новые реалии, окруженные бесконечными стеснениями как финансового, так и эмоционального характера. В отличие от Симоны, они так и не смогли там стать «своими», и, думается, натерпелись из-за фамилии куда больше, нежели дочь.

Первый звонок прозвенел, едва фон Армгарды переступили порог местной администрации района, чтобы оформить свое новое местожительство. У клерка глаза на лоб полезли, когда она ознакомилась с заполненным формуляром. Не скрывая удивления, та пару раз бесцеремонно перевела взгляд с формуляра на мать Симоны, после чего не то прыснула, не то фыркнула, всем видом как бы говоря: «Этих-то как сюда занесло!» Особой тактичностью местные не отличались, так как жили в том районе по большей части бедные и, как следствие, не самые образованные и культурные люди, составлявшие в городе низший слой населения. На первых порах подобные фырканья и косые взгляды были так часты, что родителям не раз приходила мысль сменить фамилию хотя бы дочери, предвидя сложности, с которыми той придется столкнуться в школе. Но мысли так и остались мыслями. Нельзя сказать, что, крепко поразмыслив, решили не менять, просто после слов, оброненных однажды мамой девочки в разговоре с отцом: «Я – фон Армгард, она – фон Армгард, наша фамилия – это наша кровь и единственное, что у нас осталось... И она фон Армгард, черт побери! Она выстоит!» – вопрос отпал сам собой и больше не поднимался.

А трудности у девочки в школе были. «Фон Армгард», разумеется, выделялась на фоне прочих незамысловатых фамилий, приковывая внимание, точно красная тряпка для быка. Школьницам, как и везде, было отнюдь не чуждо желание поиздеваться друг над другом, награждая окружающих нелюбезными кличками, проявляя особое рвение в отношении белых ворон. И если других награждали «обычными» кличками, то для Симоны у большинства был особый, персональный «словарь», где ехидные колкости вроде «ваше высочество», «дворянка» и «ваше святейшество» были самыми безобидными. Таким образом, даже в издевательствах она была изолирована от прочих жертв. Но Симона себя в обиду не давала. Порой конфликты заканчивались тем, что она приводила в школу на разборки своих подруг с района.

С преподавательницами было полегче в этом плане, хотя и здесь не без своих сложностей и драм. У тех все в отношении Симоны, будь то положительное, нейтральное или

отрицательное, объяснялось ее фамилией. Что-то не понравилось в поведении – тут же слышалось: «Так она же фон А-а-армгард, видите ли!»; неувязочка какая-то произошла – развели руками: «Ну что поделаешь, фон А-а-армгард»; а неизменные успехи в учебе сопровождались перешептыванием вкупе с многозначительным вскидыванием бровей: «Фамилия все-таки! Фон Армгард!» Драмы имели место по большей части в пятом и шестом классах с легкой руки Денизы Ануд – преподавательницы математики, недолюбливавшей Симону, причиной чему была мать девочки. Не раз и не два можно было слышать язвительные комментарии госпожи Ануд в учительской, возмущавшейся повадками фон Армгард-старшей на родительских собраниях и встречах. О нет, мать Симоны отнюдь не была активна на собраниях, лишь изредка позволяя себе вопросы, но именно эта «царственная немногословность», «величественный взгляд» и «барские замашки», как говаривала преподавательница, бесили последнюю; «Одета ничем не лучше нашего, ест то же, что и мы, квартирка, знаю, не ахти какая, а взгляд и повадки – будто дом полон прислуги!» – ворчала она под хихиканье коллег. Справедливости ради нужно отметить, что наблюдения госпожи Ануд по большей части соответствовали действительности, но «снисходительным взглядом» фон Армгард-старшая одаривала окружающих невольно: то было наследие славного прошлого семьи, неотъемлемая черта ее «я», которую женщина даже не замечала за собой; это отчасти и мешало ей обзавестись приятельским кругом общения на новом месте. Дениза Ануд же была личностью не без харизмы, женщиной в возрасте и с претензией на уважение (и уважение глубокое), и манеры фон Армгард-старшей попросту выводили ту из себя. На дочери она и отыгрывалась. Поскольку поводов для придирок по учебе девочка не давала, по успеваемости наголову превосходя всех своих одноклассниц, нападки носили личный характер. Юная Симона терпела, лишь дома позволяя себе поплакаться на жестокую несправедливость. Однажды она все же дала отпор, да такой, что Дениза Ануд возмущенно ворвалась в учительскую, бурля и пенясь, точно кипящий чайник. «Точь-в-точь ее мамаша!.. Ну точь-в-точь!.. Да я ее!.. Да я...» – взхлеб шипели ее уста, порывисто хватая воздух, пока коллеги не уgomонили женщину, посоветовав ей сбавить обороты в отношении девочки, мол, добром для Ануд это не кончится, коль до директрисы уже дошли слухи о ее «особом отношении» к фон Армгард-младшей, и не сегодня завтра того и смотри вызовут горе-учительницу на директорский ковер. Заступиться за девочку учительниц побудила не заговорившая совесть или сострадание (многие разделяли неприязнь Ануд к фон Армгард-младшей из-за фон Армгард-старшей) и уж тем более не переживание за карьеру Денизы Ануд (фи!), а успехи девочки в учебе, принесшие школе первое за всю историю ее существования призовое место на межшкольной городской олимпиаде, «напомнив» таким образом всему городу о существовании этой школы, где еще, оказывается, чему-то учат.

А произошло следующее.

В тот день Дениза Ануд с утра пребывала в объятиях меланхолии, наведывавшейся к ней регулярно, и не особо горела желанием нести знание деткам. Устав от «не готов», «м-м-м» и ряда невразумительных чирканий учеников у доски, требовавших от нее активности в виде пояснений, повторений или праведной учительской брани, лишавшей всяческой возможности просто «отсидеть урок», женщина решила передохнуть и со словами «Армгард, к доске!» настроила свой энергосберегающий режим. Каково же было ее удивление, когда названная не шелохнулась. «Армгард, к доске!» – повысив голос, повторила она, полагая, что та просто не услышала, но девочка и головой не повела. «Симо-она!» – уже грозно прогремел голос преподавательницы. Только теперь девочка встала: «Да, госпожа Ануд?» На гневный вопрос-упрек, оглохла ли она, что не идет к доске, Симона возразила, что ничуть не оглохла, просто учительница ее не вызывала. «Ка-а-ак?!» – ахнула женщина, не веря своим ушам и окинув взором класс, как бы говоря: „С ума сошла девочка!“ – Я дважды сказала: „Армгард, к доске!“ «Моя фамилия *фон* Армгард, госпожа Ануд», – последовал негромкий, но твердый ответ... Дальше свидетельства юных очевидцев расходятся: кто-то утверждал, что госпожа Ануд была

так ошарашена ответом, что впала в ступор с отвисшей челюстью на пару минут, кто-то говорил о минуте, кто-то ограничился «секунд двадцать-тридцать», кто-то вдобавок узрел, что и без того круглые-прекруглые глаза женщины округлились до невозможности, многие услышали звук упавшего из учительских рук карандаша... Достоверно одно: госпожа Ануд действительно была огорошена, да так, что попросту остолбенела, растерянно промямлив: «А, ну да... фон Армгард... к доске», после чего сидела неподвижно, впериw мутный взгляд в Симону, энергично чиркавшую мелом на доске. Очнулась учительница вместе со звонком на перемену, когда дети умчались из кабинета; и вот тут-то ее и накрыла волна гнева и возмущения, которую она, не расплескав по пути, донесла до учительской. Разумеется, этот случай никак не облегчил жизнь юной Симоне на уроках математики, напротив, усугубил и без того незавидное положение, но одно можно сказать с уверенностью: впредь в устах Денизы Ануд «фон» неизменно предшествовало «Армгард». Нечего и говорить, что авторитет Симоны в классе после этого случая, который, к слову, и так был высок, вышел на совершенно новый уровень – уровень почитания; даже недруги невольно преклонились перед ней.

Слухи об инциденте моментально выпорхнули за стены школы. И двух дней не прошло, как фон Армгард-старшая узнала о произошедшем, сидя в парикмахерском кресле у своего мастера, чей сын учился в параллельном с Симоной классе. Глаза матери тут же увлажнились от распиравшей гордости – чувства, почти забытого ею за всеми невзгодами, постигшими их семью, их род. В тот вечер она поведала историю отцу ребенка, и родители долго стояли у кровати спавшей Симоны, лаская дочь взглядами, перешептываясь и единодушно сходясь во мнении, что кто-кто, а их девочка не пропадет, не лыком шита; «Истая фон Армгард!» – ласково заключила мать, затворяя дверь комнаты.

С дочерью они никогда не говорили об услышанном, да и Симона молчала.

Много-много лет спустя, когда Симона преобразилась в госпожу фон Армгард, в беседе с близкими она нередко вспоминала о Денизе Ануд, и вспоминала с благодарностью, называя ту одной из самых важных учительниц в своей жизни. Она не раз повторяла, что госпожа Ануд невольно закалила в ней стойкость духа и характер, заставив научиться двигаться вперед, несмотря на нескрываемую неприязнь, оскорбления и постоянные придирки, гнуть и гнуть свою линию вопреки всему. После такой «школы» все перипетии и невзгоды человеческого бытия, со слов госпожи фон Армгард, казались ей вполне преодолимыми препятствиями. «Не знаю, научила ли она меня математике, но уроки жизни давала превосходно! – шутила она. – Именно благодаря Ануд мои „молочные зубы“ выпали намного раньше положенного, сменившись „коренными“, которыми я без труда впивалась в плоть жизни».

Но это было позже, много позже, а вплоть до университета фамилия Симоны дышала ей в затылок, являясь больше поводом для тревог, нежели сугубо идентифицирующим элементом, коим фамилия служила абсолютному большинству. Но словно в сказке о фее с волшебной палочкой, по мановению Оливковой ветви Университета Офенизии все тревоги юности канули в небытие.

Слухи о том, что она потенциальная кандидатка на Оливковую ветвь, начали витать в университетских коридорах к концу предпоследнего года ее обучения. Уже тогда Симона приковала к себе внимание профессуры, поражая их не столько глубокими академическими знаниями, коими блистали многие ее сокурсницы (в Офенизии этим вообще никого не удивить), сколько магнитудой мышления, цепкостью ума и невероятной способностью развить любую идею, при этом ни капельки не страшась погружаться в совершенно неизведанные «воды» и низвергать общепринятые постулаты. «Полет мысли этой девочки, кажется, не ведает границ», – обронила однажды профессорша философии госпожа Гаяна в беседе с коллегами; последние соглашались, признаваясь, что дискуссии с фон Армгард порой настолько изнурительны и требовательны в интеллектуальном плане, что под конец занятий они порядком истощены. «Выйти живой из спора с фон Армгард – свидетельство научной и профессорской

состоятельности!» – шутила профессорша истории госпожа Фабиана. Несмотря на все это, слухи об Оливковой ветви для Симоны были полной неожиданностью, громом среди ясного неба, ибо сей отличительный знак считался недостижимым; да и он не был ее целью. Разумеется, слухи были ей приятны (еще бы!), всюду тешили студенческое самолюбие, но она на них не заикливалась – во всяком случае, старалась; мало ли слухов, думала она, и в прошлые годы, говорят, слухи ходили о той или иной выпускнице, так и оставшись слухами. Даже тот факт, что на защите ее финальной диссертации присутствовал почти весь состав высшего профессорского совета, члены которого аплодировали Симоне стоя, не внушил последней веру в возможность такого сценария. Лишь что-то смутно екнуло в груди, когда после защиты ее попросили подойти к сидящей в коляске госпоже Александре Марьям, живой легенде университета, бывшей ректоршей учебного заведения на протяжении двух десятилетий, с которой связывали золотые страницы Офенизии, присутствовавшей на защите в качестве почетной гостьи, и та проникновенно прошептала своими сухими девятидесятилетними губами, заключив руку девушки в свою: «Спасибо вам, деточка моя!.. Уважили нас! Уважили эти стены!» – расстроив Симону до глубины души.

К тому же о присуждении Оливковой ветви никогда не знали заранее, ведь самое заседание высшего профессорского совета, на котором путем тайного голосования решался такой вопрос, проходило всего за несколько дней до торжественной церемонии вручения дипломов и держалось в секрете, причем как сам факт его проведения, так и результаты голосования. Порой подобный вопрос и вовсе не поднимался на совете за отсутствием кандидаток, что говорило лишь об исключительности Оливковой ветви, но никак не о нехватке блестящих умов, коими Офенизия всегда была полна; так, старожилы совета еще помнят период, негласно названный «Оливковой засухой», – тринадцать лет кряду, когда вопрос о ветви даже не выносился на совет. Поэтому непосвященные – то бишь все, кроме членов совета, – могли только догадываться, является ли неприсуждение Оливковой ветви в конкретном году следствием отсутствия кандидатки или неполучения имевшейся кандидаткой ста процентов голосов членов совета (требовалось единогласие).

Лишь в день вручения дипломов, перед началом торжественной церемонии, когда все: виновницы торжества, профессура и гости мероприятия – собирались в сквере перед старинным церемониальным корпусом университета и среди гостей Симона обнаружила нескольких почетных профессорш, давным-давно не преподававших, главу министерства образования страны и пару-тройку видных общественных деятелей, она наконец уверовала в то, что ветвь, в принципе, возможна. Уверовав же, тут же разглядела прочих предвестников онога: в воздухе витало волнительное ожидание, эдакое осязаемое предвкушение, столь сильное и насыщенное, что нависшую воздушную массу, казалось, можно было потрогать руками; местами ловила на себе сияющие взгляды гостей, ей вовсе не знакомых; и, наконец, профессорши, охотно беседовавшие с другими выпускницами, лишали ее этой возможности, нарочно избегая, чтобы, по-видимому, ненароком не выдать словом, жестом или взглядом Симоне то, что они знали, а их приветствия с ней были нехарактерно коротки и сдержанны (задачу «сохранить в тайне» ученые умы с треском провалили). Наспех собрав эти фрагменты воедино, возбужденное и цепкое сознание Симоны без труда уложило все это добро в мозаику. Картина была полна. И как художница, отойдя от «расписанного полотна» на пару шагов, дабы получше лицезреть полученный результат, она с трепетом разглядела отчетливые очертания заветного растения! И тут ее накрыло. Ей стало страшно, по-настоящему страшно, что она может быть удостоена такой чести. Четверть века ожидания ветви всей своей тяжестью рухнули на ее плечи, придавив бедняжку; в животе сделалось худо, аж до спазм, сердце заколотилось, воздуха не хватало. В панике кинулась было искать глазами маму, да вспомнила, что всех родителей заводили в здание с другой – зрительской – стороны. Время, лишь время могло ей помочь отдышаться, переварить и принять это известие, и она взмолилась: «Подождите,

подождите, ну хоть самую малость!» – увы, время подло обратилось в резвую гончую и, рванув с места, помчалось во весь дух!.. Все понеслось и завертелось... И вот уже предпоследняя выпускница – ее близкая подруга Миранда – пожимала руку ректорше университета, принимая диплом и поздравления, стараясь при этом как можно скорее вернуться в ряды выпускниц, ибо все уже поняли, что все они – лишь прелюдия, фон, гарнир, а главное блюдо, которого ждали больше четверти века и наконец дождались, это она – дитя гетто с дворянской кровью! Пауза длилась мгновение, но для Симоны то было пропастью, куда она провалилась, несясь вниз от захлестнувших эмоций, над которыми была уже не властна. Все двести с лишним человек затаили дыхание, и даже стены старинного здания послушно замерли, погрузив огромный церемониальный зал в совершенное безмолвие. Наконец до предела наэлектризованный воздух пронзил торжественный голос ректорши, выдававший волнение: «И разум, жаждущий правды, – Симона Китри фон Армгард – Оливковая ветвь Университета Оффензии!» – вознеся вверх настоящую веточку оливкового дерева, сияя гордостью от выпавшей чести хоть раз провести почетный ритуал, – привилегия, миновавшая столько предшественниц. Последние слова утонули во взорвавшемся гвалте всеобщего ликования, буквально сотрясшем своды зала. Никто уже ничего не слышал, и лишь в голове Симоны, словно в бреду, эхом отчетливо отдавалось: «Фон Армгард! Фон Армгард! Фон Армгард!» Что было потом, Симона помнила плохо, только фрагментами, как вспышки они отпечатались в памяти: гул в ушах от несмолкаемых оваций и восторженных криков, глаза Изабеллы – извечной соперницы в учебе, которую она почти ненавидела (и это чувство было взаимным), полные искренних слез радости и восхищения, оливковая веточка уже в своей дрожащей руке, чей-то голос в ушах, огромное витражное окно старинного зала в древней многоцветной мозаике, сквозь которое падал радужный сакральный свет, и, наконец, пламенный, величественный взгляд мамы («Ах, как он ей к лицу!»), пойманный в зрительской толпе, исполненный гордости и... благодарности, – это почти все, что сохранила память Симоны, истерзанная эмоциями. Только потом, когда она смотрела видеозапись с церемонии, она увидела, что происходило: что после слов ректорши она долго не выходила на помост, вся сотрясаемая рыданиями, закрыв лицо руками, что ректорша, вручая заветную ветвь, ей говорила что-то, а Симона той даже что-то отвечала, что она, обернувшись к залу с поднятой веточкой в левой руке и дипломом в правой, подолгу стояла так, объятая несмолкаемыми овациями и безудержно рыдая, что все выпускницы подбрасывали вверх свои церемониальные академические шляпы, что при ней ректорша торжественно передала одну шкатулку подошедшему и постаревшему господину Эзекелю Браска, чтобы тот выгравировал на стене университета ее имя, как он это сделал двадцать семь лет назад, что Симона пожимала руки всем профессорам, и каждая говорила ей пару слов, и что на протянутую дрожащую руку своей курирующей профессорши она вместо рукопожатия бросилась той на шею, содрогаясь от очередной волны рыданий, отчего треугольная шляпа слетела с ее головы и покатилась по мраморному полу, и что потом она буквально утонула в поздравительных объятиях выпускниц...

То была коллективная экзальтация, почти экстаз. Все любили Симону в тот момент, даже недруги, и любили совершенно искренне, ибо она подарила всем им редчайшую возможность стать частью Истории, а не просто очередным безликим выпуском учебного заведения... А что до Симоны, то, кроме ветви, она обрела еще и свою фамилию, которая с тех пор стала для нее чем-то дружелюбным, ее неотъемлемой частью; то было необъяснимое чувство, эдакое обретение самой себя, которое она и не пыталась истолковать, просто вдруг стало легче, и впредь она воспринимала «фон Армгард» так же, как и свое имя.

Фотографию, где она запечатлена с красными, опухшими от рыданий глазами и сияющим взглядом, и диплом с надписью под оливковым символом: «Разум, жаждущий правды» – она нарочно повесила в кабинете, но не для гостей и коллег, а для себя, исключительно для себя. Они были своего рода путеводной звездой в ее трудах, в ее карьере, чтобы за рабочей

рутиной она не позабыла свои самые смелые мечты и идеалы, коими полны амбициозные студенческие годы, не ведающие компромиссов, чтобы за трудовыми буднями она не застоялась и не измельчала в своих стремлениях. Выбор в пользу этого фотоснимка, а не той официальной и безупречно срежиссированной фотографии, что была сделана после церемонии и вывешена в университете, был не случаен: то был чарующий кадр, поистине живой снимок, сделанный в пылу момента, запечатлевший всю ее: ее мечты, чаяния, страхи и счастье – в одном моменте, сердцем которого был взгляд небесно-голубых глаз, сверкающих сквозь пелену слез; взгляд, обращенный на тебя, но устремленный в бесконечную даль.

Фотография и диплом так и кочевали вместе с ней на протяжении всей профессиональной карьеры, из года в год, из кабинета в кабинет, вот уже тридцать пять лет. Они и привели хозяйку сюда около восьми лет назад. В моменты, когда она находилась на профессиональном распутье, они порой и подсказывали ей верный путь для продолжения, а подчас и вгоняли в безутешные метания и поиски себя, подвергая сомнению все ее достижения, лишая покоя. Они были ее маяком, ее лакмусовой бумажкой «в поисках Правды».

И сейчас госпожа фон Армгард устала на юную Симону, а та на нее.

Годы скорее дали, чем взяли: из юной студентки с приятной внешностью, на первый взгляд хрупким, но выносливым телосложением, пепельно-русыми волосами, выгодно контрастировавшими с глазами цвета лазурита, мерцавшими, точно ожерелья, она превратилась в очаровательную женщину, внешняя красота которой была достойным обрамлением красоты внутренней. Ее движения были степенны и плавны, в них читалась уверенность и стальная воля, а поведение, манеры и речь выдавали блестящий ум с налетом жизненной мудрости и человечность – человечность, не тронутую взлетом карьеры. И только глаза, точнее, взгляд остался неподвластен времени, все так же пронзая своим сиянием.

Она была не без недостатков и изъянов характера, о которых и сама прекрасно знала, но они никак не портили общую картину, лишь подчеркивая и напоминая, что госпожа фон Армгард все же человек, о чем можно было легко позабыть, если водрузить на ее голову лавровый венок по примеру античных богинь.

Она ждала гостей.

В дверь постучали. То был Юсуф.

– Вот, как просили, материалы пленарного заседания, назначенного на вторник следующей недели. Председательница очень хотела бы получить ваше мнение по вопросу до начала заседания... по возможности, разумеется. Она лично мне это озвучила.

– Понятно, спасибо, – ответила фон Армгард, жестом указав оставить документы на рабочем столе.

– Видел ваших гостей на пропускном пункте, они будут с минуты на минуту.

– Попроси, пожалуйста, Алексиса принести нам каких-нибудь сладостей к кофе. Вероника без сладостей не может...

– Уже попросил.

– Ах, Юсуф, ты золото!

В подтверждение его слов раздался стук в дверь: вошел Алексис с подносом, где на тарелочке, помимо прочего, красовались свежие эклеры – ее любимый десерт.

– Спасибо, Алексис! – с улыбкой протянула она, взглядом попросив Юсуфа задержаться.

– Марко очень старается, я это вижу... – начала она вдумчиво, – но у него проблемы с устной подачей информации, очень сумбурно докладывается, хотя пишет недурно. Он юн, нервничает местами, все это понятно, но навыков эффективных коммуникаций ему не хватает. Направь его на короткий тренинг Герберта Валери.

– Но Марко ведь внештатный, а бюджет не покрывает расходы на их обучение, по идее. Вас не замучает потом бухгалтерия или... внутренние аудиторы?

– Да-а, на это они мастера... но ничего, я разберусь с ними.

– Хорошо, все сделаю.

– Только преподнеси это Марко тактично, без упрека, а то и так весь дрожит, как осиновый лист на ветру... и похвали его за старания, обязательно похвали.

– Я понимаю, Симона, все сделаю в лучшем виде, – ответил он, удаляясь, действительно понимая и ситуацию, и тревожения Марко, в чьей шкуре и сам побывал в свое время.

Выходя из кабинета, Юсуф придержал открытой дверь, поскольку увидел подходявших женщин, которых Симона бросилась встречать у порога, расплывшись в лучезарной улыбке и распростерши объятия.

То были Вероника Бьянка и Софья Александра – женщины, которых она называла своими наставницами, сыгравшие, с ее слов, важную роль в ее становлении. Первая была ее курирующей профессоршей из Офенизии, вторая же – научной руководительницей в бытность работы фон Армгард в Кельнском институте независимых исследований. Профессорша Бьянка все еще преподавала, несмотря на весьма преклонный возраст, госпожа Александра же уже который год возглавляла названный институт. К тому же обе были давними подругами. Приехав в Женеву на конференцию, посвященную проблемам климата, они не преминули воспользоваться случаем и навеститься к своей подопечной.

– Ну, девочка моя, молодчина! Нашла время, уважила старушек! – молвила Вероника, обнимая подопечную.

– Ради вас – легко! – ответила обнимаемая.

– Ну-ну, Веро, ты меня давай не записывай в старушки, мне до старушки еще пахать и пахать! – шутиливо огрызнулась Софья, покончив с приветственными объятиями и усаживаясь в кресло.

– Так, Симона, сначала скажи, сколько времени у нас в распоряжении. Вы здесь люди занятые, нравы ваши мы знаем.

– До четырех я вся ваша!

– Ух ты! Ты нас балуешь, дорогая, – изумилась Софья, взглянув на настенные часы, – это же целый час! Тогда давай все по порядку и обстоятельно...

За чашкой кофе и сладостями разговор ладился; впрочем, как обычно. В первую очередь гости удовлетворили свое любопытство касательно личной жизни Симоны, чью семью обе хорошо знали, отдельно остановившись на ее дочери, проживавшей в Японии уже не первый год; поведали, разумеется, и о себе немного. Потом дело дошло до трудов и ближайших планов, где все три женщины особенно оживились.

– Старый добрый Магнус, говорят, будет у вас на конференции, это правда? – поинтересовалась Вероника.

– Да, но не совсем...

– А у нас выступать отказался, – вставила Софья. – Да ладно нам – комитету Анабельской премии, говорят, отказал! Отказал и не поморщился, а ведь его председателем на этот год звали. Им-то никто не отказывает...

– Что значит «не совсем», милочка? – уточнила Вероника.

– Он будет на мероприятии, но не на конференции. Предпочел участвовать в рабочих сессиях, точнее, только в одной рабочей сессии.

Гости вопросительно молчали, ожидая продолжения.

– В рабочей сессии с представительницами государственных органов центральноазиатских стран по законодательным инициативам в гендерных вопросах.

– Ах, как на него это похоже! – выдохнула Вероника. – Добрый малый Магнус...

– А чем обосновал свой выбор? – поинтересовалась Софья.

– Дай угадаю! – вспыхнула Вероника, остановив начавшую было говорить Симону. – Предполагаю, что обоснование сводилось к тому, что он уже стар и что пришло время молодых, а ему-де довольно и в одной рабочей сессии поучаствовать... что-то в этом духе.

Симона захлопала в ладоши, кивая и улыбаясь:

– Браво, Вероника! Почти слово в слово!

– Правда? – удивилась Софья.

– Да, так и есть. На мое сообщение, направленное после получения его первого ответа, где я просила все же оказать нам честь и выступить на конференции, он ответил... – начала было вспоминать, но потом встала и направилась к рабочему столу. – Одну секунду.

Порывшись в бумагах, достала распечатанное электронное сообщение и, вернувшись, вручила его Софье, принявшей читать вслух:

*Уважаемая госпожа фон Армгард,
благодарю вас за ваше сообщение.*

Мне бесконечно льстит как ваше приглашение выступить на конференции, так и вами любезно предоставленная мне привилегия выбора между вступительной и заключительной речами. Я искренне ценю ваш жест. Однако по состоянию здоровья я все же предпочел бы участвовать в озвученном мною формате. Кроме того, глубоко убежден, что молодое поколение, столь богатое на таланты и идеи, давно заслужило право голоса на главных помостах континента.

*С благодарностью и глубоким почтением,
Магнус Кельда*

– Ах, как уложил, как уложил, старый чертяка, и не придерешься! – мотала головой Вероника. – Здоровьем отбилась, молодыми прикрылся.

– Полагаешь, он не искренен? – удивилась Софья.

– Полагаю, что это не главная причина, по которой он отказался.

– Я согласна с Вероникой, – подхватила профессоршу Симона, – не похоже на него... чтобы Магнус Кельда так взял да уступил, вернее, упустил возможность протрубить свое слово... Все-таки это его борьба, борьба всей его жизни, которую он воспринимает очень лично.

– Ну, барышни, вам виднее, – сдалась Софья. – Вы ведь хорошо знаете его, во всяком случае, много лучше моего... Особенно ты, Веро, ну... через Элен. Я же с ним пару раз только беседовала на всяких мероприятиях, и то на отвлеченные темы, посему судить не могу.

Симона замахала руками в знак протеста, дистанцируясь от столь громкого, пусть и весьма лестного утверждения «хорошо знать Магнуса Кельда».

– Ох, хотелось бы мне знать его хорошо, но увы. Да, часто сталкивались лбами по работе, что, к слову, не могло не сказаться на наших отношениях, но прямо «знать его»... – замотала головой.

– Веро, тогда слово тебе... вердикт!

– Магнус – ратующая за дело душа, – начала та, взяв в руки распечатанное сообщение, – и, зная его, читаю между строк следующее:

Уважаемая госпожа фон Армгард,

я стар и не могу позволить себе тратить оставшееся в моем распоряжении время на пустые разглагольствования перед всякими высокопоставленными чиновниками, присутствующими на помпезных конференциях ради галочки. Нет! Свои оставшиеся силы я направлю на поиски мечущихся душ, открытых зову справедливости, которые хоть как-то могут и желают изменить мир!

Всё, отстаньте от меня!

Женщины дружно захихикали.

– Вот это уже больше похоже на правду! – воскликнула Симона. – Да еще «уважаемая госпожа фон Армгард» нужно заменить на «уважаемая бестия». Он меня за глаза бестией называет, я это знаю.

– Бестией?! – хором изумились гости.

– Ага, но я ничуть не обижаюсь, наоборот, мне это даже льстит! Что бы он ни вкладывал в это слово, воспринимаю это как комплимент.

– Хм, б-е-с-т-и-я, – вдумчиво протянула профессорша, словно пыталась расшифровать причудливое прозвище.

– А у вас что, до сих пор натянутые отношения? Ладно раньше, понятно... теперь же, как тебе передали и гендерный блок, вы ведь теперь по одну сторону баррикад.

– Да, по одну, но подходы разные. Он ведь сторонник радикальных, быстрых мер – дай ему волю, он в одночасье перевернет все вверх дном. Ему только так. Здесь же все сложнее: мы система, машина, со всеми вытекающими. Он за глаза нас кличет бесповоротными бюрократами. Я, признаться, и сама не думала, что будет так непросто продвигать решения... Здесь свои игры, свои силы и интересы, в том числе противодействующие скорому решению гендерного вопроса в развивающихся странах в части активного вовлечения мужчин в политическую жизнь.

– И чем же машут эти противодействующие силы? Психологической теорией Изадоры? – не без ехидства предположила Софья.

– Будете смеяться, но да, в том числе теорией Изадоры. Хотя тут же отмечают, что отнюдь не против решения вопроса в принципе, против лишь *скорого* решения в, так сказать, «незрелых» странах...

– Ну это классика, – отозвалась Софья, заерзав от возмущения в кресле. – «Давайте, но не сейчас, а чуть позже». Дави их, Симона, и не слушай, «потом» не наступит никогда!

– Что верно, то верно, – вторила подруге Вероника, – вон, Стена Четырех на одном этом «чуть позже» три столетия простояла, пока этот стыд и срам наконец не снесли! Уже третье поколение страны после сноса пошло, а чувство причастности и вины народ до сих пор выветрить из головы не может.

– Еще бы! – фыркнула Софья.

Все трое погрузились в раздумье, вспомнив об этой печальной странице истории человечества, пока Вероника не вернула всех в беседу вопросом:

– Милочки, кстати, о каком именно тезисе Изадоры шла речь? Особа была крайне плодотворна на теории, и я в них, признаюсь, малость путаюсь.

– О деструктивной склонности мужчин, порожденной внутренними иррациональными порывами на фоне слабого инстинкта самосохранения, – охотно пояснила Симона.

Выразительным вскидыванием бровей Вероника дала понять, что пояснением не удовлетворится и жаждет продолжения, живо напомнив Симоне студенческие годы, когда таким образом профессорша Бьянка требовала от студенток более содержательного ответа. Симона, как исправная студентка, продолжила:

– Ключевой тезис теории заключался в том, что если вручить бразды правления миром мужчинам, то военных конфликтов было бы гораздо больше и они были бы совсем иных масштабов, еще бы создали необычайно разрушительное оружие, вроде оружия массового поражения, и использовали его. Если переложить тезис Изадоры на современный контекст, то они непременно бы использовали теорию относительности физика Янмэй в военных целях, то есть создали бы ядерную бомбу, да побольше! И ею бы тыкали друг в друга.

Софья тут же подхватила:

– А обосновывает она это, ну помимо своего мудреного психоанализа, простыми наблюдениями за поведением мужчин, начиная с раннего детства и вплоть до зрелого возраста. Взять, к примеру, когда мальчишки меряются размерами своих членов или соревнуются, кто дальше

всех пустит струю при мочеиспускании, ну и так далее. Если же к этому добавить власть и конфликтную ситуацию, то магнитуа подобных «соревнований» вышла бы на совершенно иной уровень: мерились бы, у кого больше и мощнее ядерная бомба! И все их помыслы кружили бы исключительно вокруг размера и мощности бомбы, только это и имело бы значение. И все Изадора ведет оттуда же: размер члена, размер мышц, размер автомобиля, размер бомбы. Дескать, природа, ничего не поделаешь. Как первобытные мужчины мерились всем, чем могли, чтобы привлечь внимание женщины, так и сейчас бы этим занимались... только с бомбами.

– Очень в духе Изадоры, – буркнула Вероника.

– И кстати, – продолжила Софья, – она ведь идет еще дальше в своих заключениях: не только мерились и угрожали бы, но непременно использовали бы! Непременно! Да, да, это почти цитата из ее труда. Демонстрация силы на деле – краеугольный камень мужской сущности!.. Собственно, и сейчас этим занимаются, только на своем уровне...

– Хм, про «использовали бы» это уже перебор, на мой взгляд, – перебила ту Вероника.

– Считаешь?

– Ведь степень поражения такой бомбы была бы неимоверно велика, и речь идет не только о разрушительной физической силе, но и об уничтожении и отравлении природы и всего живого вокруг, причем не на год или два, а на десятилетия или даже столетия. Это как бросить ядерную бомбу в соседнюю деревню и думать, что тебя это никак не коснется. Это же полное безрассудство! Безумие! И приписывать такое мужчинам – значит считать их, мягко говоря... неразумными. Пусть Изадора и была наиумнейшим человеком, но я не разделяю ее суждения о мужчинах в данном вопросе.

– Такое неверие в мужчин – это наследие, а лучше сказать, побочный эффект нашего матриархального мира, – подхватила Симона, – никогда не выдавшего мужчин у руля власти; откуда, собственно, и известное житейское изречение: «Мужчина у власти – все равно что обезьяна с гранатой».

– Ладно, ладно, я просто подыграла а-ля Изадора, а вы заводитесь! – хихикала Софья.

Но Веронику уже было не остановить:

– Мы ведь, кстати, тоже не ангелочки, и при нас войн и всяких там конфликтов пруд пруди, а в грызне женщины порой куда яростнее и свирепее мужчин. Но если нам хватило ума вовремя остановиться и хором сказать «нет» ядерному оружию, то и мужчины, будь они у власти, уверена, сделали бы то же самое, невзирая ни на какие войны. Вон китайцы, имея преимущество в этом плане в лице бриллианта физики Янмэй, вместо разработки бомбы сразу выступили на Ассамблее наций с инициативой о мирном атоме, поддержанной всеми! И ведь когда выступили: когда всю на ножах с Россией были! Да и с Индией отношения были накалены до предела.

– Ну, в данном случае, помимо здравомыслия, пожалуй, сыграл и инстинкт самосохранения, – вставила Симона, – ведь раскрытые работы Агафьи, Гэбби Моргана, да и Сумати, показали, что они были очень близки к теории Янмэй; это был лишь вопрос времени, причем очень короткого промежутка времени...

– Вот-вот, инстинкт самосохранения сработал! – подхватила Софья, ухмыляясь. – А по Изадоре, у мужчин-то он слабоват!

– Здравомыслие ли, или инстинкт самосохранения, или их комбинация – не важно, но есть вещи, с которыми не шутят, – не унималась Вероника, ярая сторонница «зеленого мира», – и ядерное оружие относится к таким вещам; и я уверена, что и мужчинам хватило бы ума и... смелости отказаться от него, какие бы войны ни пылали на земле.

Высказавшись, профессорша Бьянка поделила последний эклер на три части и предложила подругам.

– Возвращаясь к нашему вопросу, – резюмировала Симона, доев свой кусочек, – какая бы она ни была, но теория Изадоры лишь один из аргументов, почему некоторые политические

силы скептически относятся к немедленному решению гендерного вопроса в развивающихся странах – во всяком случае, до тех пор, пока уровень сознания там не подрастет достаточно, чтобы к власти подпустить мужчин.

– Ох, святая Анна! Надеюсь, в официальных выступлениях они не используют подобные фразы... – сокрушенно вертела головой Софья.

– Разумеется, нет.

– Да-а... – протянула Вероника.

– Ну а господину Кельда всю эту кухню я же не стану объяснять, – заключила Симона, – да и не воспримет он, ему же нужно с места в карьер!

– Он идеалист в этом плане, причем радикальный, а таким быть на самом деле несложно: все или ничего! Искать же компромиссы куда сложнее...

– Ну, Соф, он, может быть, и идеалист, но очень умен, и справедлив, и... мудр, очень! И это нужно признать и отдать ему должное: он, в конце концов, почти всю свою жизнь положил на это дело, всю без остатка! Если честно, Магнус вызывает у меня только восхищение. Не побоюсь сказать, что Магнус – великий человек! Непонятый многими, но великий! Да и обречен был на непонимание, поскольку был в самом авангарде. И если со мной и можно не согласиться, считая мое мнение о нем субъективным, то у меня есть кое-что, что можно отнести почти к объективному доказательству его величия, и доказательству неоспоримому...

Собеседницы невольно обратились в слух.

– Элен Берта! – триумфально произнесла Вероника. – Моя прославленная подруга любила только великих людей!

Дела альковные

Зима подходила к концу.

Айгуль лежала в постели с книгой в руках. Обычно слабый убаюкивающий свет прикроватной лампы вкупе с приятным телу и глазу покрывалом создавал необыкновенный телесный уют, точно объятия родной матери, в которых хочется заснуть. В последние же дни постель была для нее полем битвы – битвы с Кейко Хана. Айгуль отчаянно боролась с накрывающей дремой, решив сегодня же дочитать роман известной японской писательницы; ну или хотя бы сделать решающий рывок к его последним страницам, чтоб уж завтра добить его и перейти наконец к другому произведению (хотя такой план был и вчера, и позавчера). От этой книги она устала, даже была истощена. То было очень объемное и «медленное» произведение, заставляющее погружаться в глубокие размышления. Это отнюдь не было для нее сюрпризом: принимаясь за Хана, она знала, что перу авторки присущи сложные психологические произведения, центром которых является внутренний мир человека, за что писательница и снискала весьма заслуженную славу, но Айгуль и не подозревала, насколько все будет замысловато. Не раз закрадывалась мысль отложить роман до лучших времен, но «дочитать начатую книгу» было для нее нерушимо; принцип, заложенный матерью, однажды обронившей тогда еще совсем юной Айгуль, надумавшей отложить «скучную книжку»: «Авторка писала книгу несколько лет, а ты не хочешь потратить несколько часов, чтобы дочитать ее, хм». Впрочем, нашла и плюс от знакомства с Кейко Хана: чтение романа получше всякого снотворного, к концу дня утомленный мозг просто отказывался воспринимать столь мудреные вещи и отключался, Айгуль так и засыпала с книгой в руках.

Дети уже спали, Икрам еще нет.

Она услышала, как он уселся за стол в зале и притих. Улыбнулась. Задумчивое состояние, не покидавшее Икрама последнее время, не прошло для нее незамеченным.

Вначале она подметила, что по вечерам, перед сном, он начал что-то записывать. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила, что он, оказывается, начал вести дневник... дневник! И это человек, неоднократно заявлявший в беседах, причем в категоричной форме, что не мужское это дело – копаться в себе и своих чувствах, анализировать всякие переживания и уж тем более записывать их. Икрам сконфуженно признался, что начал записывать свои мысли и наблюдения, сделанные в течение дня, и что это – тут уж совсем залился краской – сугубо личное, для самоанализа, вконец добив супругу фразой: «Чтобы лучше понять себя». Айгуль была этому только рада и похвалила мужа за работу над собой, внутренне приоткрыв рот от удивления – удивления приятного.

«Так-так-так... мама дорогая, – залепетала про себя, улыбаясь, – то ли еще будет».

Как в воду глядела.

За словами, прежде от него не слыханными, последовали действия, доселе за ним не наблюдавшиеся. То засядет за книги, к которым раньше и на пушечный выстрел не подходил, то забудит что-то под нос, точно беседу репетирует, а однажды Айгуль и вовсе застала мужа за чтением научных материалов, принесенных ею с какой-то конференции, о существовании которых и сама позабыла. Да и к детям отношение у Икрама поменялось: обычно короткие отцовские разговоры сменились на неспешные беседы. Венцом же внутренней метаморфозы стал задумчиво-рыщущий взгляд, поселившийся на лице Икрама.

Пробудившаяся любознательность Икрама только радовала Айгуль. Ее тактические попытки в прошлом растормошить мужа, чтобы он открыл для себя что-нибудь новое, занялся саморазвитием и расширил свое мировоззрение, не имели успеха; давить же на него она не хотела. Она почти смирилась с тем, что он так и будет идти по жизни как по накатанной, так и останется милым и порядочным человеком, с которым надежно, уютно и спокойно; так

надежно и спокойно, что аж ко сну тянет. Ей казалось, что они словно парусник, застигнутый штилем, вяло барахтающийся туда-сюда. Таково было ее восприятие их отношений, не его. Она видела, что Икрам все так же тянется к ней, что она все так же волнует его. Но для нее он стал тихой гаванью, куда судно пристаёт передохнуть и залатать пробоины, прежде чем вновь ринуться в схватку с бушующим океаном, штормом и ураганом страстей.

Видимо, поэтому у нее были любовники. Немного, но были.

С последним она рассталась меньше года назад; рассталась, выдохнув от облегчения. Сабит был моложе ее, не глуп, смазлив, но уж больно прилипчивым оказался, к тому же... всегда улыбался. Если поначалу улыбочивость, собственно, и привлекала ее, как признак жизнерадостного человека, то спустя некоторое время она поняла, что жизнерадостность – лишь один из поводов, по которому смазливая улыбка подвисала на лице; один из великого множества. Если Сабит не знал, что ответить, он улыбался, если не понимал, о чем вообще идет речь, – улыбался, прежде чем выразить свое мнение – улыбался, нечто похожее на улыбку было даже тогда, когда он просто молчал. Засыпал ли он с улыбкой на лице – этого Айгуль не знала, так как встречались они сугубо днем или ранним вечером, на часок-другой, но не удивилась бы, будь оно так. Однажды она так и бросила ему в лицо: «Да что ты вечно улыбаешься, как идиот!» Что он ответил? Все верно, он улыбнулся. Позже она рассудила, что улыбка по большей части служила Сабиту фасадом, за которым он переживал неудобные моменты, так что под конец она и вовсе вызывала в ней откровенную жалость. Лишь в одном случае он никогда не улыбался: во время секса. И слава Матери! его улыбку во время плотских утех она бы не потерпела. Но нужно отдать ему должное: в постели Сабит был хорош, определенно хорош; только поэтому Айгуль подолгу терпела его улыбку, пока совсем не стало невмоготу. Расставание же неожиданно растянулось; тот все никак не хотел оставить свою любовницу в покое и постоянно маячил то тут, то там, исправно попадаясь ей на глаза, пока наконец не сдался и не отстал. К слову, бывшее преимущество в виде соседства зданий, где они работали, обернулось недостатком: они нередко пересекались на улице, обмениваясь фирменными «сабитовскими» улыбками.

Но уж лучше такой, как Сабит, чем – не дай Мать родная! – опять повстречать кого-нибудь вроде Олжаса. Чуть совсем не пропала из-за него.

Они были ровесниками, он был умен, даже очень, но ему откровенно не везло на профессиональном поприще. Помимо взаимной симпатии, их объединяли еще и интересы, и за какие-то месяцы они сильно сблизились. Она тогда совсем голову потеряла, эмоционально привязавшись к Олжасу. Столь сильная душевная связь не могла не сказаться на их плотских отношениях, усилив их необычайно; она буквально таяла в его объятиях, растворяясь на кусочки, расщепляясь на атомы. Когда она принимала его в себя, ей казалось, что он проникал дальше, глубже, в самое ее сознание, «аж все тело звенело», как она однажды призналась своей давней подруге. Иногда их занятия сексом заканчивались ее плачем, тихим блаженным плачем; и она позволяла ему делать с собой все что угодно, абсолютно все. Таких абиссальных телесных наслаждений она не испытывала даже с Абаем – ее первой и, как ей казалось, настоящей любовью. С Олжасом она себя не узнавала: ходила потерянной, земля уходила из-под ног, твердая хватка, которой она держала поводья своей жизни, ослабевала. Разумеется, такое не могло остаться незамеченным. На работе начало не ладиться; руководство, прежде всегда довольное ею, косо поглядывало на участвовавшие срывы сроков выполнения поручений и сдачи проектов, да и к качеству работы возникали вопросы. Айке – тогда еще совсем малютке – уделяла все меньше и меньше времени, да и Икрам, она была уверена, если и не знал про Олжаса, то как минимум подозревал о существовании «кого-то», ибо их отношения тогда были натянуты до предела. Но хуже всего было то, что все это Айгуль не беспокоило, она будто наплевала на окружающий мир. Неизвестно, чем бы все это закончилось, только Олжасу наконец-то улыбнулась удача на трудовом поприще: ему предложили хорошую работу за рубежом, о кото-

рой он, с его слов, и мечтать не мог. Это было спасением. Но как бы он ни был рад подвернувшейся возможности, поначалу серьезно вознамерился отказаться от предложения, лишь бы не уезжать от нее, несмотря на все ее мольбы не отвергать подарок фортуны. О да, Айгуль умоляла его, умоляла, ведь с ним рядом она была обречена погибнуть, пойти на дно, на самое дно. И вот последним усилием воли ее инстинкт самосохранения, безжалостно игнорированный месяцами, словно феникс восстал из пепла и в спасительном прыжке ухватился за эту возможность. За всеми доводами и аргументами, что она приводила ему: финансовая стабильность, признание и – чем черт не шутит! – карьера; за всеми вдохновенными призывами: «Твой шанс! Твое будущее! Твоя жизнь!» – она истошно кричала в своей голове: «*Мой*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.